
Павел Нерлер

«У чужих людей мне плохо спится...»: Воронежские адреса Осипа Манделъштама¹

Окольцованный Манделъштам

После кратковременного пребывания в Чердыни-на-Каме он поселился в Воронеже.

А. Дымищиц

Манделъштам и Воронеж — эти имена уже неотрывны друг от друга.

Воронеж для Манделъштама стал и овидиевой Скифией, и пушкинским Болдино. Манделъштам для Воронежа — одной из самых ярких красок в городской истории.

¹ Публикация представляет собой фрагмент новой биографии О. Э. Манделъштама, над которой автор работает в настоящее время для издательства «Вита Нова». В тексте приводятся ссылки на тома и страницы следующих изданий: *Манделъштам О.* Собрание сочинений: В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993—1997 (указание тома и страниц дается в скобках, арабскими цифрами); *Манделъштам Н.* Собрание сочинений: В 2 т. / Ред.-сост.: С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин. Екатеринбург: «Гонзо» (при участии Манделъштамовского общества), 2014 (далее — НМ, с указанием тома и страниц арабскими цифрами); *Герштейн Э.* Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. 528 с. (далее — ЭГ, с указанием страниц арабскими цифрами); О. Э. Манделъштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935—1936) / Вступ. статья Е. А. Тоддеса и А. Г. Меца; Публ. и подгот. текста Л. Н. Ивановой и А. Г. Меца; Комментар. А. Г. Меца, Е. А. Тоддеса, О. А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год: Материалы об О. Э. Манделъштаме. СПб.: Академический проект, 1997. С. 7—185 (далее — СР, с указанием страниц арабскими цифрами); *Штемпель Н. Е.* Манделъштам в Воронеже // «Ясная Наташа»: Осип Манделъштам и Наталья Штемпель / Сост.: П. Нерлер и Н. Гордина. М.; Воронеж: Кварт, 2008 (далее — ЯН, с указанием страниц арабскими цифрами).

«Трудно сложились для поэта и житейские обстоятельства. После кратковременного пребывания в Чердыни-на-Каме он поселился в Воронеже», — так трогательно и мило написал об этом миграционном акте Александр Дымшиц, автор предисловия к тому же Мандельштаму, вышедшему в серии «Библиотека поэта» в 1973 году.²

Осип Мандельштам приехал в Воронеж в июне 34-го не на отдых и не в творческую командировку. Он прибыл в ссылку, в порядке исполнения назначенного ему наказания. Здесь он провел 35 последующих месяцев, лишь ненадолго отлучаясь в непродолжительные поездки — в частности, в Воробьевский район (две командировки от газеты — в 1934 и 1935 гг.), на дачу (предположительно в Сосновку) в 1935 году, в Тамбов (в санаторий, на стыке 1935 и 1936 гг.) и еще раз на дачу — в 1936 году (в Задонск).

Поначалу всё как-то задалось — и работа, и подработки, и даже стихи, но постепенно над Мандельштамом стали сгущаться тучи. Сначала — бытовые, денежные (изгнание к осени 1936 года практически отовсюду, где он когда-то работал или подрабатывал), а потом и политические.

Будучи очень открытым по природе человеком, Осип Эмильевич в воронежской ссылке столкнулся с острейшим дефицитом человеческого общения. Из-за его ссыльного статуса многие побаивались, как сказал один артист воронежского Большого советского театра, «прислоняться» к нему, а в конце, когда появились классические обвинения в контрреволюционности и троцкизме, многие стали от него шарахаться. Один довольно известный университетский профессор-философ³ просто испугался знакомиться с Мандельштамом, полагая — и, наверное, резонно, — что это небезопасно.

Словом, постепенно вокруг Мандельштама в Воронеже выкачивался воздух. Оказавшись в вакууме, задыхаясь в нем, человек обычно попадает в жуткую депрессию, начинает думать о самоубийстве и т. д. Но с Мандельштамом — вопреки болезни и слабости — произошло иначе. Сама природа, сам город, его лучшие люди, с которыми он здесь не просто общался, а подружился, — такие как Наталья Штемпель, Павел Загоровский или Маруся Ярцева — вдохнули в него дух дружества и, сообщая, оказались сильнее торричеллиевой пустоты и репрессивной машины.

Изоляция, в которой поэт оказался в Воронеже, всегда была сильной, но никогда — абсолютной или герметичной.

² Дымшиц А. Поэзия Осипа Мандельштама // *Осип Мандельштам*. Стихотворения. Л., 1973. С. 11.

³ Бер Моисеевич Бернадинер (1903–1964) — преподаватель диамата в различных вузах Воронежа, автор книг «Философия Ницше и фашизм» (1934) и «Демократия и фашизм» (1936).

Уже через пару недель после прибытия в Воронеж его проведаль Эренбург. Позднее к нему приезжали, пользуясь гастрольями, Юдина и Яхонтов (и не раз!). Заходили и другие гастролеры: летом 1935 года — артисты Камерного театра, например, а 23 ноября того же года — пианист Лео Гинзбург.

Дважды на майские праздники приезжала Эмма Герштейн, по разу, но на день — оба брата Осипа. На неделю — Ахматова и на месяц — Дина Бутман. И, наконец, дважды — его теща, Вера Яковлевна Хазина.

Медленно и постепенно складывались добрые отношения Мандельштама и с жителями Воронежа (хозяева съемных квартир и соседи — не в счет): Федей Маранцем, Карлом Швабом, Наташей Штемпель, Павлом Загоровским и Марусей Ярцевой.

Первый — он же и самый ранний, и самый ближний — круг общения составили репрессированные москвичи и ленинградцы: врачи, писатели, журналисты. Из них — по интенсивности общения и воздействию на поэта — выделялись двое: Павел Калецкий и Сергей Рудаков.

Второй круг — воронежцы: те же категории лиц, но с добавлением разве что газетного и писательского начальства. Но ни с кем из писателей Мандельштам по-настоящему не сблизился: ближе других к нему оказались Борис Песков и Петр Прудковский (прозаики), а также Вадим Покровский (поэт). Зато Наташа Штемпель заменила их всех и прочно вошла в жизнь поэта — как его друг и читатель (нет, куда ближе: как первый слушатель!). Близким человеком был и Федя Маранц.

По признаку преобладающего общения воронежское трехлетие Мандельштама можно разбить на три неравные трети, или, условно, — на три «года»: «год» с Павлом Калецким, «год» с Сергеем Рудаковым и «год» с Наташей Штемпель.

«Год Павла Калецкого», если считать его от приезда Мандельштама и до отъезда Калецкого в июле 1935 года, продлился чуть больше 12 месяцев: в это время Осип Эмильевич осваивался в Воронеже и приходил в себя после ареста, тюрьмы и Урала.

На «Год Сергея Рудакова», вобравший в себя 15 месяцев (с апреля 1935 по июль 1936), выпали стихи «Первой тетради». Точнее, стихи пришли на несколько месяцев, «общих» для двух «годов» — года Калецкого и года Рудакова (лишь «Летчики», стоящие несколько особняком, дописывались уже в отсутствие первого). Но стихи вернулись буквально на глазах — и даже в присутствии — именно Рудакова, хотя именно он пытался повлиять на их дальнейшее «прохождение» и финальные редакции.

Если Калецкий в «свой» год относился к Мандельштаму скорее равнодушно, будучи связан смертельной болезнью жены, то Рудаков в «свой», напротив, был нацелен на общение с поэтом, о чем чуть ли не ежедневно,

а нередко и дважды в день отчитывался в письмах перед своей женой. Эти письма — ценнейший источник свидетельств о Мандельштаме в Воронеже.

Другое дело, что общение Рудакова с поэтом было весьма специфическим: его недюжинные эгоцентризм и неискренность ставили его не в положение преданного или хотя бы уважительного Эккермана, что было бы так естественно, а в положение аспиранта, варварски, хищнически, по-конквистадорски собирающего материал к «диссертации», да еще и учащего свой предмет уму-разуму. Мандельштам интересовал Рудакова примерно так же, как физиолога — мышка или таксидермиста — тушка. Даже не догадываясь о таком омерзительном к себе отношении, Мандельштам интуитивно ему не поддавался. И чем ближе к отъезду Рудакова, тем менее информативны и интересны становились его свидетельства, хотя иное письмоцо нет-нет да и «вспыхивало» заемными (у Осипа Эмильевича!) искрами.

А когда Мандельштам погиб и тема «диссертации» определенно изменилась, поэт и вовсе перестал интересоваться Рудакова: так, отложенные в архиве.

Самым коротким (с конца сентября 1936 года и до середины мая 1937-го) был «Год Натальи Штемпель». Это самый изгойский и самый трудный период за все воронежское трехлетие поэта. Но именно отношение к ней, отношения с ней, как и с теми, кого она с собой «привела», впервые были по-настоящему и двусторонне дружескими. И не случайно именно на эти восемь месяцев пришлось две «воронежские тетради» из трех!..

Глядя на Мандельштамов сквозь призмы воспоминаний о поэте Натальи Штемпель и эпистолярной Сергея Рудакова, порой испытываешь затруднение: а не о разных ли людях идет в них речь? Но разница не в Мандельштаме — разница в них самих, в их «оптиках» и в их «космогониях».

Встреча и дружба с Наташей Штемпель — настоящее чудо и величайший подарок в жизни Осипа Мандельштама, ничуть не меньший, чем встреча и дружба с Борисом Кузиным. Рудаков же, напротив, оказался внутренне совершенно не готов к этой встрече и променял этот дар на свои комплексы. Для него мандельштамовские стихи, конечно, и чудо, и восторг, но прежде всего — предмет нелепого соревнования и навязчивого, маниакального их редактирования и «оптимизации». Если допустить, что Мандельштам — «Моцарт», то Рудаков тогда — вовсе не «Сальери», как могло бы показаться на первый взгляд: он, безо всяких кавычек, — Нарцисс!..

Пока Мандельштам отбывал свою ссылку, историческое время напруглось и ужесточилось. Репрессии набирали и набрали обороты. Буха-

рин, который систематически покровительствовал Мандельштаму «сверху», был арестован, а вслед за ним — и почти все столичные и местные руководители, которым давалась команда «помогать» Мандельштаму. И Сталину, вдоволь наигравшемуся с этой мышкой, было уже не до поэтишки — готовились слишком «большие процессы». А, может, он и решил — для всех и за всех: нечего больше миндальничать.

Так что возвращение Мандельштама в Москву в середине мая 1937 года было, возможно, произвольным, пусть и не долговременным, но спасением.

Самое поразительное — те дивные стихи, которые Мандельштам написал в Воронеже, вершинные во всем творчестве.

Трижды — с апреля по июль 1935, с декабря 1936 по февраль 1937 и с марта по май 1937 г. — его накрывал невероятный творческий прилив, а когда волна уходила, «на берегу» всякий раз оставалась стопка листов с новыми стихами.

Воронежский период — время высочайшей творческой интенсивности. Четверть всего, что Мандельштам написал, приходится на его воронежские годы: настоящая «Болдинская осень»!

Тут, правда, надо учесть одну особенность дарования — Мандельштам не мог писать одновременно стихи и прозу. Но сесть за прозу в Воронеже у него и не получилось.

Зато рождались стихи. И излучаемое ими чувство просветленного оптимизма, замешанного на человеческой трагедии, — потрясает.

Это то, что Мандельштам именно отсюда, из Воронежа, привнес в русскую и мировую поэзию, — «кое-что изменив в ее строении и составе» (4, 177).

Благодаря своим воронежским стихам Мандельштам навсегда прописался в этом городе.

Я около Кольцова
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца...

В 1991 году в Воронеже, на улице Энгельса, — одновременно с Москвой и Ленинградом — появилась мемориальная доска, затем, в 2006 году — вторая, посвященная приезду к нему Анны Ахматовой. В 2008 году открыли памятник поэту, а сквер, в котором он стоит, неофициально (а со временем и официально) стал именоваться Мандельштамовским.

И нет сомнений: когда-нибудь в Воронеже будет и улица Мандельштама.

- Это какая улица?
- Улица Мандельштама...

Поговорим же о воронежских пристанищах поэта и его жены — об их терраске возле Бринкмановского сада, о каюте на корабле в яме на Лиейной, о смежных комнатах на Революции и на Энгельса и о счастливой комнате в доме без крыльца у театральной портнихи. Но не забудем и о поездках по окрестностям — в Воробьевку, Тамбов и Задонск.

Гостиница «Центральная»

Уронишь ты меня иль проворонишь...

О. Мандельштам

В Воронеж — к своему новому месту отбытия наказания — Мандельштамы приехали примерно 25 июня 1934 года. Никакие славные ребята ни из каких железных ворот их, кажется, не сопровождали, как никто их и не ждал, и не встречал. Взяв извозчика, они отправились со своим скарбом в гостиницу «Центральная» на проспекте Революции (бывшей Большой Дворянской улице).⁴ Номер им не дали, но по койке в мужском и женском номерах на разных этажах предоставили.

Здесь, в середине центральной улицы, позвякивавшей трамваями и еще не забитой эманациями примитивной конструктивистской советскости, город излучал полузабытый губернский шарм. Какой все-таки контраст с уездной Чердыню!

Первые же прогулки по окрестным кварталам в поисках съемного жилья, первые же взгляды на зареченские дали — всё это своего рода форпосты визуальной колонизации города, в котором, не дожидаясь хозяйина, однажды уже побывали мандельштамовские строчки, — в 1919 году, в виде публикации манифеста «Утро акмеизма» в нарбутовской «Сирене».⁵

Самый первый визит — в дом 39 по улице Володарского, в местное управление НКВД, вчерашнего ОГПУ, где находилась и приемная комендатуры. Прибытие новенького административно-высланного зарегистрировали, а с него самого взяли типовую подписку. Мол, я, такой-то,

⁴ Гостиница жива и по сей день (д. 44, или 42–44 по современной нумерации).

⁵ В 1918–1919 гг. Владимир Нарбут издавал в Воронеже изысканный по оформлению журнал «Сирена». В № 4/5 за 1919 год Нарбут опубликовал статью-манифест Мандельштама «Утро акмеизма».

расписываюсь в том, что мне объявлено следующее: первое — о перемене места жительства заявлять в органы не позже, чем через сутки после перемены (иначе — квалифицируется как побег), второе — за пределы городской черты Воронежа без разрешения органов отлучаться не смей! Пределами же города при этом объявлялись: правый берег реки Воронеж и сама река в черте города, железнодорожная линия между вокзалами Воронеж-I и Воронеж-II, последние постройки слобод Троицкой и Чижевки и Ботанический сад (включительно). Левый берег Воронежа, Сельхозинститут (СХИ) и слобода Придача считались расположенными уже за городской чертой, так что мандельштамовский «Чернозем», написанный под впечатлением пахоты на опытном поле СХИ, был стихотворением, географически нелегальным!

Осип Эмильевич, возможно, даже не оценил того, что перемена Чердыни на Воронеж оказалась еще и заменой ссылки на высылку. Это избавляло его от «прикрепления», то есть от необходимости отмечаться здесь с какой-то заданной частотой.⁶

Следующие воронежские дела оказались связаны с медициной. Сразу же по приезде поэта, по настоянию жены, осмотрел психиатр — Сергей Семенович Сергеевский,⁷ в начале 1930-х гг. заведовавший кафедрой психиатрии в Воронежском мединституте. Осмотрел — и травматического психоза не обнаружил. Скорее всего, это имел в виду брат Мандельштама Шура, когда 6 июля писал отцу: «От Нади — два письма. Осипо здоровье лучше. <...> Возможно, будут переизданы Осипы переводы Майн-Рида, и он будет обеспечен на лето».⁸

Зато вскоре в больницу, причем в инфекционную,⁹ загремела сама Надежда Яковлевна: ее свалил сыпняк, подхваченный, возможно, в поезде или в гостинице. В палате она познакомилась с Леонидом Ивановичем Богомоловым, пожилым врачом-ленинградцем из ссыльных, вскоре ставшим фактически «семейным доктором» четы Мандельштамов.

⁶ В случае Чердыни — с пятидневной, что было, однако, совершенно лишь единожды: там от бремени регистрации поэта «избавил» прыжок из окна.

⁷ По другим версиям, это мог быть преемник Сергеевского по кафедре С. Г. Жислин или М. Ю. Раппопорт — в 1935–1937 гг. наиболее известный в Воронеже невропатолог.

⁸ Осип Мандельштам в переписке семьи (Из архивов А. Э. и Е. Э. Мандельштамов) / Публ., предисл. и примеч. Е. П. Зенкевич, А. А. Мандельштама и П. М. Нерлера // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М., 1991. С. 93.

⁹ Бывшая Красного Креста. Находилась на ул. Ф. Энгельса, 72.

На терраске у повара

Пространство, сжатое до точки...

О. Мандельштам

Пока жена болела и выздоравливала, Осип Эмильевич всю жизнь действовал. В Привокзальном поселке, — в июле и ничуть не загадывая о зиме, — он снял у старика-повара летнюю застекленную терраску на Федеративной улице,¹⁰ очень близко от Бринкмановского сада.¹¹

Хотя точный адрес документально не установлен, можно предполагать, что это был дом на пересечении Федеративной с Исполкомовским переулком — на месте современного дома № 18. До войны на этом месте стояло два отдельных дома — № 18 и № 16: № 18 принадлежал инженеру Владиславу Антоновичу Рогинскому, начальнику Юго-Восточной железной дороги (в доме одно время была детская музыкальная школа), а № 16 — некоему Птицыну (в этом доме одно время размещались ясли), и именно в нем была терраса. Правда, никто из старожилов (а я расспрашивал их еще в конце 1970-х гг.) не помнил никакого знаменитого повара в этом месте; один знаменитый не то повар, не то кондитер из ресторана «Воронеж» жил поблизости, но всё же не здесь, а на Земледельческой,¹² почти напротив Педагогического университета.¹³

...Платоновские, между прочим, места. И сугубо деревенские, в сущности: дома с палисадниками, садами и огородами, немощеные улицы, заросшие травой и бурьяном и почти непроходимые после дождя. По улицам вышагивали, поводя гребешками, буколические петухи и куры, а за заборами — звонкий лай и каторжный лязг цепных псов.

...Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать.
Чернопахотная ночь степных окраин
В мелкобисерных изыблах огоньках...

¹⁰ Первоначально Бринкмановской, а позднее Урицкого.

¹¹ Александр Германович фон Бринкман (1815–1899) — саратовский, а затем астраханский вице-губернатор. В Воронеже жила его дочь — Вера Александровна Кричевская (во втором замужестве Парфенович), основательница Реального училища Кричевской в Воронеже, эмигрировавшая в 1919 г. В Привокзальном районе Воронежа Бринкманам принадлежали незастроенные земли, названия строившихся на них улиц и переулков давались по именам новорожденных отпрысков династии Бринкманов (см.: *Полов П.* Воронеж: история города в названиях улиц. Воронеж, 2003. С. 20).

¹² Современной улице Г. С. Вавилова.

¹³ Ныне — Педагогический университет.

Гать здесь совсем не абстрактная. Перекинутая через заливной луг, Придаченская гать через Чернавский мост соединяла город с Придачей, тогда еще пригородом.

...В середине июля 1934 года Мандельштам всё еще кантовался на терраске один. Здесь он принимал и своего первого гостя из Москвы — Илью Эренбурга. Направляясь на строительство железнодорожной магистрали Москва-Донбасс, тот специально заехал в Воронеж, чтобы повидать Мандельштама, и нашел его, хотя и одного (Надя была в больнице), но более или менее в порядке.¹⁴ Не исключено, что свои встречи с писателями и журналистами в редакции «Коммуны»¹⁵ он использовал и для того, чтобы донести до их сознания весть о сталинском «чуде о Мандельштаме».¹⁶

¹⁴ См. запись в дневнике М. Талова: «22 августа 1934 г. Был у Эренбурга, недавно вернувшегося из Парижа. Заговорили об Осипе Мандельштаме, недавно высланном из Москвы. Эренбург его видел в Воронеже в удовлетворительном состоянии. “За стихи против Иосифа Виссарионовича”, — на мой вопрос о причинах ссылки ответил Эренбург» (*Талов М. В. Воспоминания. Стихи. Переводы / Предисл. Ренэ Герра; Сост. и коммент. М. А. Таловой, Т. М. Таловой, А. Д. Чулковой. М.; Париж, 2005. С. 72*). С подачи Н. Я. Мандельштам считается, что, проведя в Воронеже три дня (с 16 по 18 июля), Эренбург, якобы, не повидал Мандельштама из-за того, что, встречаясь с местными писателями и журналистами в редакции «Коммуны», не решился спросить у них его адрес. Да они и не знали тогда адрес: откуда? Узнать же адрес самому Эренбургу было совсем не сложно — у кого-то из его братьев или у брата его жены. Более того: судя по отправленной 16 июля отцу и теще телеграмме, подтверждающей получение денег, Эренбург, возможно, и привез Мандельштаму некоторую сумму денег от родных.

¹⁵ Известна фотография «Встреча воронежских писателей с тов. Эренбургом», на которой запечатлены М. Подобедов, А. Швер, Н. Романовский, М. Булавин, Б. Песков, Е. Ашурков и П. Прудковский (Подъем. 1934. № 7/8. С. 127; фото Х. Капелиовича). Воспроизведена в изд.: Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи: К 70-летию со дня смерти О. Э. Мандельштама / Сост., послесл. и примеч. П. М. Нерлера; Подгот. текста С. В. Василенко и П. М. Нерлера; Науч. ред. С. В. Василенко; Худ. А. П. Гуцин. М., 2008. С. 94–95.

¹⁶ Присутствовавший на этой встрече М. Я. Булавин отрицал, что речь заходила о Мандельштаме: «О Мандельштаме разговора не было. Если бы здесь был Мандельштам, то Эренбург оказал бы помощь, реальную помощь. Если бы он встречался с высланным, то того бы, конечно, взяли на карандаш. Квартира ему была бы предоставлена» (*Гыдов В. Н. О. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М. Я. Булавина) // «Сохрани мою речь...». М., 1993. Вып. 2. С. 39*).

В Москве же, в Нащокинском, гостил в это время отец Мандельштама. 16 июля сын телеграфировал ему и теще: «Деньги получены = Здоровье Нади мое самочувствие хорошее = Ося» (4, 157).

Но Надю выписали только в конце июля, и почти сразу она уехала на месяц в Москву по разным делам, в частности, по квартирным (возможно, на предмет сдачи одной комнаты) и переводческим.¹⁷ А к Осипу Эмильевичу на это время приезжала теща. После этого приезда, правда, она зареклась делать это — настолько раздраженно, вспыльчиво, а иногда и грубо повел себя с нею зять. Вера Яковлевна понимала, что это болезнь, но и с собой поделаться ничего не могла: покойный Яков Аркадьевич такого себе не позволял.

Отсутствие жены и, вероятно, после встречи с Эренбургом Мандельштам заглянул в редакции областных органов печати — журнала «Подъем» и газеты «Коммуна», где почти сразу свел знакомство со Стефеном и Калецким, а чуть позже и с Айчем — товарищами по перу, ссылке и травле.¹⁸

С местными, воронежскими, писателями отношения стали выстраиваться много позже, в октябре-ноябре — после того как Мандельштам обратился к Александру Владимировичу Шверу (1898—1938), председателю правления областного отделения ССП и редактору «Коммуны», с просьбой дать ему возможность участвовать в местной литературной жизни. Швер устроил ему тогда встречу с активом ССП, на которой поэт, по воспоминаниям Стойчева (шверовского преемника), рассказывал о «своей огромной жажде принять и осмыслить советскую действительность, просил помочь ему бывать на заводах и в колхозах, вести работу с молодыми писателями».¹⁹

Весь август прошел под знаком Первого съезда советских писателей, так что Надежда Яковлевна знала если не из первых, то из вторых уст о том, что Юстас Балтрушайтис, литовский консул и русский поэт, метался между делегатами и умолял всех и каждого спасти Мандельштама — с неотразимой для делегатов аргументацией: ну хотя бы в память об уже погибшем Гумилеве! (НМ, 1, 102—103)

В запротоколированных же на съезде речах Мандельштам всплывал лишь несколько раз: дважды — анонимно, в качестве «одного старого поэта» из речи Н. Тихонова 29 августа 1934 года, в которой он полемизи-

¹⁷ Возможно, речь тогда зашла о переиздании Майн Рида.

¹⁸ Со временем все три этих имени — как неблагонадежных попутчиков-«троцкистов» — еще не раз поставят рядом с мандельштамовским!

¹⁹ Из записки О. К. Кретовой для работника обкома ВКП(б) М. Генкина от 29 ноября 1934 г.

ровал со статьей «Слово и культура», а в третий раз — 27 августа — в докладе А. Н. Толстого (sic!) «О драматургии»: «Ложью была и попытка “акмеистов” (Гумилева, Городецкого, Осипа Мандельштама) пересадить ледяные цветочки французского Парнаса в русские дебри. Сложным эпитетом, накладыванием образа на образ акмеисты подменяли огонь подлинного поэтического чувства. Усложненный эпитет, накладывание образа на образ — очень широко распространенное явление в советской литературе».²⁰

Своего рода эхом этого тезиса была цитата из обзора А. Селивановского «Очерки русской поэзии XX века», опубликованного аккуратно в августовской книжке «Литературной учебы». В главе с выразительным названием «Распад акмеизма» о Мандельштаме можно было прочесть: «Он любит только то, что не связано с социальными страстями. Эта внутренняя незащищенность Мандельштама, прикрытая внешним холодком классической неподвижности, была выражением старческого загнивания буржуазной культуры. <...> В последних стихах Мандельштама порою звучит страстная тоска, страстное желание вырваться из круга старых дум и привычек и сблизиться с советской действительностью, но это желание перешибается старинными воспоминаниями об ушедшем прошлом (он поднимает кубок “за музыку сосен Савойских, полей Елисейских бензин, за розу в кабине Рольс-ройса, за масло парижских картин”), и социалистическая конкретность обволакивается пеленой всё тех же старинных книжных условностей. Так, в недавнем цикле стихов об Армении исчезла живая Армения и сохранился условный пейзаж Армении как повод для отвлеченных размышлений поэта. Мандельштам, независимо от его субъективных намерений, *остался тужим* для социализма поэтом с начала до конца».²¹

Уж не отсюда ли и тот подчеркнутый и оттого провокативный интерес к акмеизму, который отразился в повестке дня единственного за все воронежские годы вечера Осипа Мандельштама?..

Признавая за поэтом право на мастерство и оставляя для него лишь узкую щелочку в литературной истории («акмеист!»), критики дружно

²⁰ 8 сентября доклад был повторен на Ленинградской конференции писателей и в том же году опубликован отдельным изданием (см.: *Толстой А. Н. О драматургии: Доклад на Первом Всесоюзном съезде писателей*. М.: ГИХЛ, 1934. С. 161).

²¹ Литературная учеба. 1934. № 8. С. 32–33. Примечательно, что здесь процитировано не опубликованное (sic!) еще тогда стихотворение Мандельштама «Я пью за военное время...», прочитанное 10 ноября 1932 г. на мандельштамовском вечере в редакции «Литературки», редактором которой — и, стало быть, организатором вечера — был как раз Селивановский.

отказывали ему в причастности к современности и, уж тем более, — к будущему.

...Первого сентября, когда писательский съезд закрылся, Надя уже была в Воронеже. Но, едва приехав, она почти сразу слегла, снова попав в ту же инфекционную больницу — на этот раз с колитом-дизентерией. Пробыла она в ней недолго и вышла не позднее 8 сентября — поправлялась уже дома, на легкомысленной терраске, с каждым днем и с каждой ночью всё более и более прохладной.

И снова ей пришлось съездить в Москву, и снова на месяц, если не больше. На время своего отсутствия она попросила приехать к Осипу Эмильевичу Эмму Герштейн. Та не смогла, зато нашла себе замену — Диночку Бутман, Надину приятельницу еще по Киеву, трогательную актрису и бывшую жену В. Яхонтова, а в это время подругу другого киевского знакомого — Льва Длигача.²²

В Москве Надежда Яковлевна выбивала в ГИХЛе переводы. Заглянула и на Кузнецкий мост — к старым знакомым из «Помполита» («Политического Красного Креста»), Михаилу Львовичу Винаверу и Екатерине Павловне Пешковой, с которыми поневоле познакомилась в мае. Приложил справки о здоровье — Осипа Эмильевича и своем, она начала хлопоты о переводе из Воронежа в Крым, особенно налегая при этом — после двух пребываний в инфекционной больнице — и на интересы своего выздоровления.²³

Пообщалась она — и, видимо, весьма доверительно — с Мариэттой Шагинян. Из письма к ней узнаем о подлинном состоянии поэта: «Я знаю, я буду метаться между Москвой и Воронежем. Оставлять Осю одного нельзя, а между тем оставлять его придется. После психоза — наступила общая подавленность, депрессия. Нужны очень ровные, очень благоприятные условия жизни, чтобы всё восстановить. Но это невозможно».²⁴

...Когда же в 10-х числах октября Надя вернулась в Воронеж, лужи перед домом и вода в ведре на терраске каждое утро покрывались всё более прочной шерешью — утренним ледком. Муж встретил ее, закутанный во всю теплую одежду, какая только была в доме. Просто диву даешься: как

²² Настолько, кстати, возражавшего против этой поездки, что из-за этого с нею расставшегося!

²³ Горчева А. Ю. Пресса ГУЛАГа: Списки Е. П. Пешковой. М., 2009. С. 198.

²⁴ Два письма О. Э. и Н. Я. Мандельштам М. С. Шагинян / Публ. П. Нерлера // Жизнь и творчество Осипа Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 71—77.

это ни он, ни она, ни оба-вместе не угодили тогда в больницу с законным воспалением легких, например?

Но на один только холод не спишешь всю ту подавленность и тревогу, которые Надя застала у Осипа по возвращении. 31 октября она писала Шагинян: «Мы говорили с вами, и у меня такое чувство, что главного я не сказала. Во-первых, о делах: ни работы, ни договоров, ни денег. Да и надеяться на всё это было глупо. Так всегда было в нашей жизни, кроме коротких периодов. Почему же теперь, когда Мандельштам выслан, те редактора, которые никогда не знали, что с ним делать, вдруг бы изменили свою политику? Да, честно говоря, если бы я была редактором и деятелем литературной политики, я сама бы не знала, что с ним делать. Он сам не знает, что собой делать. / Сейчас, после всего, что было, после пережитого Мандельштамом психоза, всё это приобретает особый трагический смысл. Но разве сейчас время для пересмотра литературного положения? / <...> Вы не знаете, Мариэтта, какая у нас была дикая жизнь. Мне кажется, и литературные организации, и Мандельштам действовали заодно. Словно у них была общая цель. Они глухо и слепо толкали Мандельштама на путь ужаса и пустоты, а сам он, словно выполняя какую-то историческую функцию, невольно навлек на себя все беды и все удары. / Я не знаю, как у других, но у Мандельштама стихи — это разряд несчастья, неразрешенности, страха смерти. Они шли от предчувствия катастрофы и зазывали ее. Жизнь помогала этому. (Была и другая, более сильная струя в стихах, но я думаю сейчас именно о той, которая делала “судьбу”) / <...> Что же сейчас? Все говорят, чтобы я писала Сталину. О чем! Поэт отвечает за свои стихи. В государственном плане всё логично. Ужасно было, что во время психоза его отправили в ссылку под конвоем. Этих недель я никогда не забуду. Но это исправлено. Наконец, помимо стихов у нас изолируют людей, выпадающих из социальной среды и мешающих общему движению. Мандельштам выпадал, он мешал. / <...> Мариэтта, я сама ничего не знаю и не понимаю. В таких случаях призывают “судьбу”. Мне кажется, что судьба — перестать бороться и захлебываться, как мы это делали всю жизнь. Больше сил нет, Мариэтта. Я всегда удивлялась живучести Мандельштама. Сейчас у меня этого чувства нет. По-моему, пора кончать. Я верю, что уже конец. Быть может, это последствие тифа и дизентерии, но у меня больше нет сил, и я не верю, что мы вытянем».²⁵

²⁵ Два письма О. Э. и Н. Я. Мандельштам М. С. Шагинян. С. 75–77.

В яме имени Мандельштама

За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах...

О. Мандельштам

...В середине октября с идиллической, но уж больно легкомысленной терраской у Бринкманова сада удалось проститься. «Маклером» стал дед Митрофан, живший у того же повара: стал он им поневоле — тезка популярнейшего святого, в чью честь был поставлен самый знаменитый в городе монастырь, он решительно никуда не мог устроиться, даже ночным сторожем!

Благодаря старику Мандельштамы остались в ближнем «Завокзале». Заплатив за полгода вперед (спасибо Виктору Маргериту!),²⁶ они переехали в Троицкую слободу — в дом 4-б по 2-й Линейной.²⁷

Написанное спустя полгода стихотворение «Это какая улица...» — смесь трагического автошаржа и визитной карточки. В нем — топографически точное описание местоположения и даже адрес новой прописки:

Мало в нем было линейного.
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Геоморфологически «яма» — это пазуха-тупичок между швейной фабрикой и откосом железнодорожного полотна. В нее вела довольно крутая полудорожка-полутропинка, крепко перехваченная корнями деревьев. Слегка разогнавшись, надо было притормозить перед воротами одноэтажного дома с правой стороны тупика, в который вела дорожка, войти в них и, огибая дом по правую руку и не переставая спускаться, пересечь двор.

Сразу за углом дома начиналась неширокая деревянная лестница (в сущности, приступок в несколько ступеней), ведущая наверх, на незастекленную террасу (в сущности, на балкон). Осип Эмильевич любил выходить на балкон сам или со своими гостями. Оттуда открывался роскошный вид на степной оком Заречья — вид, особенно впечатляющий

²⁶ См. ниже.

²⁷ Теперь это переулок Швейников, д. 4-б. Дом сохранился, но перестроен.

весной, когда вся пойма была под водой. Этот вечно меняющийся пейзаж сам Мандельштам сравнивал с «ненаписанной картиной Рафаэля — готов фон» (СР, 34). Если же пробросить взгляд не вдаль, а наискосок вниз, то за бровкой открывались и обе бликующие колеи железной дороги, и прославленный поэтом «светофор со сломанной рукой».

Пол в комнате покосившегося дома был немного кривым, половицы скрипучими, и всё это напоминало накренившуюся палубу. У дальней стены стоял самодельный диван, а возле двери — кухонный квадратный стол с примусом, поразившим Рудакова тем, как легко он зажигался. Было в этом жилье нечто такое, что заставляло его писать жене: «Жаль, что ты не увидишь этой комнаты, в новой будет не то» (СР, 42).

В одном стихотворении Мандельштам так описывает своего хозяина:

За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах...

Это Евгений Петрович Вдовин — по профессии агроном, откуда и сапоги. Хороший, кстати, сосед: до сих пор в окрестных дворах замечательные сады — это Вдовин снабжал своих ближних качественными саженцами яблонь и груш (его дом уцелел во время войны, и он пускал к себе тех, кто остался без крова). Жену его, Неонилу Михайловну,²⁸ добрейшую душу, соседи даже называли святой — впрочем, может быть, из-за известной и заурадной слабости самого Вдовина: пристрастия к вину...

Второй слабостью Вдовина была тяга к «прекрасному» — общению в высшем свете: Мандельштама он пустил отчасти потому, что рассчитывал через него завести интересные знакомства («вместе румбу танцевать») с местными писателями — Задонским, Кретовой и другими, в его представлении, виртуозами пера. Но те к нему не приходили, и тогда Вдовин, разочарованный и обиженный, стал врываться к постояльцам, когда кто-то всё же приходил к ним, и даже требовал для проверки паспорта («У вас тут собрания, а я, как хозяин, отвечаю!»).

²⁸ Родная сестра Марии Михайловны Кораблиновой, жены воронежского писателя Владимира Александровича Кораблинова (1906–1989), доброго знакомого Н. Е. Штемпель. Мандельштама Кораблинов запомнил сугубо внешне: был странен — ходил, бормотал, закидывал голову. Литературно-политически поэт-акмеист ему, ориентированному на ЛЕФ поэта, был совершенно чужд: «герой не моего романа», — оправдывался он потом. Но, оказавшись на месте Мандельштама хоть сам Маяковский или Пушкин, Кораблинов точно так же чурался бы и их, ибо после трех лет лагеря (за анекдоты и недонесение того, что видел у своего друга, художника А. В. Брюна, карикатуру на Сталина) откровенно боялся и избегал новых рисков.

²⁹ Гордин В. Л. Мандельштамовский Воронеж // Жизнь и творчество Осипа Мандельштама. С. 56.

Было у Вдовиных трое сыновей: один из них — 13-летний тогда Костя (он же «Кот») — запомнил, что Надежда Яковлевна, получив гонорар за перевод «Вавилона» В. Маргерита, купила братьям конструктор и угощала их шоколадками, а отца — шампанским.²⁹

Неонила Михайловна ежедневно кипятила квартирантам небольшой самовар, а иногда и сама чаевничала с ними. Стояло у Вдовиных и пианино, впрочем, расстроенное настолько, что Мария Вениаминовна Юдина, приезжавшая в Воронеж 12—13 ноября с концертами и посетившая Мандельштама в «яме», раскрыв крышку, так и не смогла извлечь из него хотя бы один чистый аккорд. В этот приезд она брала поэта на свои репетиции в пустом зале Дома Красной Армии, где вечерами шли ее концерты.³⁰ Вернувшись в Москву, она отправила в «яму» только что вышедший прекрасный альбом живописи импрессионистов, чем крайне порадовала Осипа Эмильевича, тосковавшего по «своим французам».

Побывал здесь и Владимир Яхонтов, гастролировавший в Воронеже 22—23 марта 1935 года. Постоянным посетителем «ямы» был Калецкий, эпизодическими — Стефен и Айч. И именно сюда — 1 апреля 1935 года, буквально на третий день своего пребывания в Воронеже, — к поэту впервые пришел еще один ссыльный — Сергей Борисович Рудаков.

Рудаков знал, любил и держал в памяти едва ли не всю русскую поэзию. У него была одна из лучших домашних поэтических библиотек в Ленинграде. Над его письменным столом висел портрет Блока.³¹ Часами, захлебываясь, он мог говорить о любимых и нелюбимых поэтах и композиторах.

Однажды Рудаков уже встречался с Мандельштамом — в начале марта 1933 года в Ленинграде, в гостинице «Европейская», где остановился поэт, приехавший ради двух своих вечеров. Уже тогда Рудаков, вероятно, пытался очаровать Осипа Эмильевича своими поэтическими опусами, но явно не преуспел. Поэтому само слово «Европейская» не раз всплывает в его переписке, став, в контексте общения со старшим поэтом, нарицательным: мерою фиаско.

Вот описание новой встречи в самом первом — от 2 апреля 1935 года — письме Рудакова из Воронежа жене: «Лица, если я вчера не вернулся бы домой в 10 мин. второго (а в половине второго гасится свет), вчера было бы написано замечательное письмо. // Но так даже лучше. Всё расскажу дома, когда приеду. Всё: это вид на степь за железную дорогу

³⁰ М. В. Юдина выступала в Воронеже вместе с симфоническим оркестром под управлением А. В. Дементьева. Исполнялись «Аппассионата» Бетховена, концерт № 23 Моцарта и др. (см. рец.: *Сад[ковой] Н.* Пианистка М. Юдина // Коммуна. 1934. 15 ноября).

³¹ Сообщено С. Петровым.

и непомерно разлившуюся в половодье Ворону,³² это очень быстро наступивший вечер, наступивший и тянувшийся в полусумраке долго. Потом ночь.

Шницель и какао в кафе, а потом сиденье на самодельном диване в покосившейся комнате, примус, необыкновенно легко разжигавшийся, хождение вдоль покосившегося пола. // В крошечную черную ночь уход домой через заднюю балконную дверь домика, стоящего на окраине железнодорожного поселка. <...> Я не знал, что он в Воронеже. Они (он и она, которая сейчас в Москве) приглашают нас и Анну Андреевну на дачу (они будут под самым Воронежем с 20—25/IV). А А. А. придет 6—7/IV. Может быть, придет Яхонтов. // Вот тебе и Воронеж!» (СР, 32).

Всё здесь дышит ощущением фантастической удачи, почтительной переполненностью ею и даже благодарностью судьбе за такой неслыханный подарок, как живой гений поэзии в собеседники и соседи.

В «меблирашке» у «мышебойца»

«Разрешите поджарить?..»

*Адриан Федорович,
хозяин «меблирашки»*

Как бы то ни было, всё учащавшиеся ссоры Мандельштама со Вдовиным, хозяином в сапогах, только усиливали тягу расстаться с «ямой» и ее обитателями. Но полугодичный задаток, который Вдовин получил при съеме, жестко привязывал к нему Мандельштамов до середины апреля 1935 года.

12 апреля, когда Надя была снова в Москве, Осип Эмильевич снял новую комнату у некоего Адриана Федоровича, точнее — у Наташи, его молодой жены из раскулаченных. А 21 апреля Мандельштам без сожаления съехал от Вдовиных. Сожаление испытывал, как ни странно, Рудаков, находивший скрипучую каюту на Линейной весьма романтичной: «Я простился с комнатой, с балконом и неповторимым видом за реку через полотно железной дороги» (СР, 45).

...Новая, третья по счету, квартира Мандельштамов находилась в двухэтажном доме на углу проспекта Революции и улицы 25 Октября.³³ На

³² Имеется в виду река Воронеж. «Вороной», по собственному предположению, назвал ее сам Рудаков. Воронежцы так ее никогда не называли.

³³ Сам дом не сохранился, на этом месте выстроено большое шестиэтажное здание (дом 45 по улице 25-го Октября), на первом этаже которого в 1980-е гг. находился магазин детских игрушек «Буратино», а сейчас одесский бутик.

первом этаже была булочная: вход прямо с угла, и тут же рядом бочка с ледяным поутру квасом. На втором — «меблирашки», то есть длинный коридор с меблированными «номерами» гостиничного типа, в которых жили разнообразные люмпены. В один из таких «номеров» — в дальнюю смежную комнатку в крошечной двухкомнатной квартирке — и переехали Мандельштамы. Сама по себе комната была ощутимо меньше той, что была у них в «яме». Когда в начале октября 1935 года — в квартире или на этаже — был ремонт, Мандельштамам пришлось перебраться на одну неделю в гостиницу «Бристоль» (СР, 89, 93).

О хозяевах мы знаем немного: комнату сдала «она» (Наташа), поскольку ей позарез нужны были деньги для помощи матери в деревне, «он» — Адриан Федорович. Жена держала его в черном теле и звала «Иродом», а Мандельштамы — «агентом» или «мышебойцем». С первой же секунды он невзлюбил не нужных ему жильцов, невзлюбил горячо, от всего сердца — и даже не лично и не национально, а социально. Совершенно неважно, был ли он, например, антисемитом: названный брат своего современника Йозефа Геббельса, хватающегося при слове «интеллигенция» за пистолет, он люто ненавидел эту паразитическую прослойку — городской аналог кулачья, которое он всласть погромил в начале 30-х. Эту классовую ненависть он испытывал не только к лысому поэту с женой, но и переносил ее, например, на их электроплитку («интеллигентская штучка», в его понимании).

Без этой маргинальной социальности не уловить и не понять то творческое начало, что просматривалось в череде постоянных пакостей Адриана Федоровича. Вот, например, *тем* заслужил он у Мандельштама кличку «мышебойца»: «Он заходил к нам в комнату, держа за хвост живую мышь — дом просто кишел всякой нечистью. Вежливый, по-военному подтянутый, он приветствовал нас с порога, а затем говорил: “Разрешите поджарить?” — и шел прямо к электрической плитке с открытой спиралью. <...> Из соседней комнаты доносились его шуточки об интеллигентских нервах: а я их еще не так припугну — коту зажарю... Замечательно, что он не пил и все свои трюки выполнял в абсолютно трезвом виде. Мышь была его коронным номером» (НМ, 1, 212).

В середине мая «мышебоец» не выдержал и настучал на Мандельштама в органы. Поэта вызвали в НКВД, взяли у него письменные объяснения и даже показали донос — своеобразный знак своеобразного доверия. В доносе же сообщалось, что к Мандельштаму приходил и засиделся у него до утра «подозрительный тип» и что из комнаты доносилась стрельба (!). «Типом» же оказался не кто иной, как Владимир Яхонтов, гастролировавший в Воронеже 15 мая 1935 года, — афиши о его выступлении были расклеены по всему городу. Артист подтвердил: да, посетил друга, да, просидел у него до утра, но нет, не стреляли.

...Завсегдатаями этой квартиры с первого дня были Рудаков и Калецкий, по-видимому, помогавшие и с переездом. Начиная с мая 1935 года завсегдатаем стал и антрополог Яков Рогинский. А однажды — видимо, в августе или сентябре 1935 года — сюда к Мандельштамам зашла не знакомая им Анна Андреевна Русанова, врач по профессии. Она принесла вафельное полотенце, которое Мандельштам незадолго до этого оставил в Воробьевке у неких Михайловых. Представляясь, Русанова перепутала названия и сказала, что дело было в Боброве, где Мандельштамы никогда не были: деталь эта насторожила и даже испугала их, но полотенце они всё же оставили.³⁴

В день переезда в «меблирашки» Надежда Яковлевна была еще в Москве. Она приехала только назавтра, 22 апреля, — одна, без многократно «анонсированной» Ахматовой, — и сразу же попала в новое жилье по новому адресу.

24 апреля в «меблирашке» на семейном обеде с телятиной, молодой картошкой и столовым вином сошлись Мандельштамы и Калецкий с Рудаковым: импровизированное новоселье! Первый тост провозгласил Мандельштам: «За наших жен!» Рудаков же в этот вечер нарисовал тушью портрет поэта (СР, 46),³⁵ а в Надежде Яковлевне, которую заочно недолюбливал, сумел увидеть прелестную женщину, понимающую стихи, причем не только мужнины, но и вообще — стихи.

Воробьевский район

Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

О. Мандельштам

В Воробьевском районе Воронежской области Мандельштам побывал дважды — в конце ноября 1934-го и в конце июля 1935 года.

Еще в 1933 году по инициативе начальника политсектора воробьевского зерносовхоза т. Дворкина и директора совхоза т. Бондаря в Воробьевке был основан первый в области сельский театр: к концу ноября

³⁴ «А жаль, что испугались, я могла бы им чем-то помочь», — сокрушалась потом А. А. Русанова, врач по профессии, впоследствии профессор (ее отец — профессор А. Г. Русанов, известный в городе хирург — лечил в свое время Н. Е. Штемпель).

³⁵ Опубликовано Т. Лангераком: *Лангерак Т.* Два рисунка С. Б. Рудакова // Филологические записки: Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж, 2001. Вып. 16. С. 163.

1934 года здесь было построено театральное здание с вращающейся сценой (!) и зрительным залом на 320 мест. С самого начала над совхозным театром взял шефство воронежский Большой Советский театр, а один из его артистов — П. К. Трапезников — стал директором и режиссером театра. Здание было торжественно открыто 25 ноября и отмечено постановкой «Гибели эскадры» Корнейчука. «Коммуна» несколько раз откликнулась на это событие.³⁶

Воронежская театральная-писательская бригада выехала в Воробьевку 24 ноября. В нее входили директор, главреж и ведущие артисты театра, а также три писателя — Лев Плоткин, Ольга Кретьева и Осип Мандельштам, которого, похоже, включили в писательскую бригаду в последний момент, но, тем не менее, его имя даже попало в газету — 26 ноября.³⁷

Спустя восемь месяцев, в ночь с 22 на 23 июля 1935 года, корреспондент «Коммуны» Осип Мандельштам с женой сели в поезд, направлявшийся в Калач, где их ждала пересадка на Таловую. От станции назначения — Воробьевки — до самого райцентра еще километров пять, а оттуда еще путь до Никольского, куда, впечатленный первой поездкой, устремился поэт. Вся дорога — километров 200 с лишним — занимала около 11 часов.

Вместе с Мандельштамами ехали еще три командированных журналиста, и сама эта «тройка», возможно, живо напомнила им тройку конвоиров по пути на Урал! Одним из них был очеркист «Коммуны» Михаил Евгеньевич Аметистов (1909—1985; печатался под псевдонимом Михаил Чужой), а имена остальных оставались неизвестны до тех пор, пока я не наткнулся в «Коммуне» на статьи о Воробьевке за двумя подписями: «М. Морев, Т. Мурдасова».

Идентифицировать Т. Мурдасову (возможно, это псевдоним) не удалось, а вот Михаил Морев — лицо известное: его стихи входили в сборник 18-ти воронежских авторов, опубликованный накануне Первого съезда писателей с целью создания ячейки в Центрально-Черноземной области.³⁸ Морев публиковался и в «Подъеме», но вся его трудовая карьер-

³⁶ В частности, в материалах, опубликованных 17 сентября («Театр в Воробьевке»), 6 октября («Скоро будет театр в Воробьевке», с фотографией), 17 («Воробьевский театр»), 25 («Театр в Воробьевке»), 26 («Театр в степи», автор — Н. Садковой) и 29 ноября.

³⁷ Первое и последнее нейтральное упоминание поэта в «Коммуне»!

³⁸ См., например: «Я вижу мечту, воплощенную в быль, / И планы страны, превращенные в факты, — / С конвейера сходит автомобиль / И тысяча первый трактор. // И гордое сердце пылает в огне, / Теряя свое равновесие, / И запросто ночью приходит ко мне / Хорошая звучная песня...» (Альманах молодых писателей / Под ред. П. И. Калецкого. М., 1934. С. 140).

ера была связана с «Коммуной»: до войны — корреспондент, во время войны — ответсекретарь, после войны — зам. главного редактора.³⁹

Спустя десятилетия Аметистов охотно рассказывал об этой поездке (О. Кретовой, Н. Штемпель и даже пишущему эти строки), и в центре каждого из этих рассказов была ночная живность Воробьевки, в частности, домашние насекомые.

Штемпель: «В избе, где они расположились ночевать, Осип Эмильевич всю ночь просидел на чемодане с зажженной свечкой в руке и тростью отгонял тараканов».⁴⁰

Кретова: «Бригадир совхоза отвел писателям для ночлега самое благодатное, по мнению каждого сельчанина, место — на сеновале. Михаил и два его сотоварища блаженно бросились в душистое сено, зарылись в нем, спали богатырским сеном. Каково же было их изумление, когда наутро они увидели сжавшегося в комок Мандельштама, сидящего на единственном, чудом здесь оказавшемся стуле. Оказывается, Осип Эмильевич так и просидел всю ночь напролет, поджимая ноги, прислушиваясь к шорохам, боясь полевков, сверчков, кузнечиков, летучих мышей, всего чуждого ему, незнакомого, непривычного его уху».⁴¹

Есть и еще один рассказ — самого Мандельштама (в передаче Рудакова), датированный 31 июля — днем возвращения из поездки: «Утром (в 9) разбудили Мандельштамы. Записываю тебе первое и главное. Они бодры. О. весел. Там было так. Жили они в Доме крестьянина. О. пленил партийное руководство и имел лошадей и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60—100 с партийцами знакомиться с делом. Надин говорит, что он их очаровал, но чем — не признается, т. к. это было не в ее присутствии. Говорит, что произошло это потому, что под боком не было любящей жены, которая при его взлете сказала бы: “Молчи, дуралей”. Оська мне говорит: “2 1/2 часа чувствовал себя Рябининым (секретарь Обкома), который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель расшатанный, с провалами, а я им... я им... дал по 12 важных указа-

³⁹ Сообщено Д. Дьяковым.

⁴⁰ Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи: К 70-летию со дня смерти О. Э. Мандельштама. С. 119. То же самое М. Аметистов рассказывал 8 июня 1984 г. и мне.

⁴¹ Кретова О. К. Страницы памяти: Документальное повествование. [Мандельштам] // Подъем. 2003. № 11. С. 105. И далее она рассуждала: «— Урбанист он, не примет нашего деревенского, нет, не примет, — сокрушался Михаил. А этот урбанист Мандельштам, прикоснувшись к земле, создал вдохновенные строки о воронежском черноземе, о наших среднерусских синеглазых первоцветах, о кленах и дубках».

ний и без числа мелких...”. На вопрос мой — каких же, он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновенье. По сути, он распустил перед ними хвост и действительно пленил личным обаяньем, которое, при подобающей настроенности, излучается им здорово. Покрутит и напишет очерк. Это внешнее. А фактически это может быть материал для новых “Черноземов”. Говорит: “Это комбинация колхозов и совхоза, единый район (Воробьевский) — целый Техас с очень сложной картой чересполосиц. Люди слабые, а дело делают большое — настоящее искусство, как мое со стихами, там все так работают”. // О яслях рассказывает, о колхозниках. Их там (Мандельштамов) заели клопы и блохи. Он говорит, что эти звери для клопов мелки, для блох велики, назвал он их комбинационно: блохохотам. Говорит — это новая разновидность. Факт тот, что он, не зная деревни, — видел колхоз и его воспринял. Но сам добавляет: “Вот всё ошибаюсь, скажу про какого-нибудь председателя, что он молодец, что ему дивизией бы командовать, а секретарь райкома мне скажет, что тот отменно плохой работник; то же с отдельной колхозницей. Видите, как обманчиво!” // Как ребенок мечтает поехать еще туда. Глупость, т. к. газета туда же не пошлет, а если сам приедет, не будет той короны, что венчала его сейчас» (СР, 78—79).

Но самое глубокое свидетельство о поездке — и одновременно ее осмысление — оставила сопровождавшая мужа Надежда Яковлевна: «Летом 35 года Мандельштаму удалось поехать по Воронежской области: газета отправила его в командировку и получила разрешение на выезд в органах. Мы провели около двух недель в Воробьевском районе, переезжая из деревни в деревню на попутных машинах. Под конец чуть ли не в один день нам довелось встретиться с человеком недавнего прошлого, мелким своевольцем, отеческой рукой управлявшим колхозом, и с одним из граждан нового стиля — директором совхоза, настоящим роботом, равнодушным исполнителем повелений, которые сыпались на него в бесчисленном количестве в виде инструкций на папиросной бумаге. Они, наверно, все загубили себе зрение, расшифровывая эти неудобочитаемые инструкции» (НМ, 2, 301).

И далее — описание и характеристика обоих типажей, словно сошедших (особенно первый!) со страниц Андрея Платонова.

«Своевольца» звали Прокофий Меркулович Дорохов. Он ровесник Мандельштама: родился в 1891 году в селе Никольском Россошанского округа ЦЧО. Вот его послужной список: в 1906—1914 гг. — в сельском хозяйстве; в 1914—1921 гг. — служба в армии, сначала царской, потом Красной; в 1921—1929 гг. — председатель волостного земельного комитета, земельный уполномоченный, председатель сельсовета в родном Никольском, с 1929 года — председатель кредитного товарищества и зам.

председателя сельскохозяйственной артели «Новый путь», с 8 января 1930 года — в рядах ВКП(б).⁴²

«История Дорохова проста и типична. Он вернулся домой с фронтов Мировой и Гражданской войн и по типу своему принадлежал не к тем, кто бился в припадках падучей, а к тем, кто держал припадочного. В деревне он сразу начал строить новую и счастливую жизнь. Стартовал он с комбеда и рыскал по кулацким амбарам, отбирая зерно для города, потом оказался в волостном совете и организовал первую коммуну. Она была распущена, как все подобного рода “товарищества по совместной обработке земли” и добровольные коммуны. Они всё же представляли собой некое “мы”, целью которого было не только служить государству, но и прокормить детей.

Подшло время коллективизации, и Дорохов стал председателем маленького, а затем укрупненного колхоза. Он жаждал власти, потому что точно знал, как идти к счастью. Очувтившись первым в своей деревне, он развил неслыханную активность. Незадолго до нашего приезда его сняли с председательского поста за самоуправство — он что-то передернул с поставками и нанес ущерб государству. В самой деревне с ее жителями он мог творить что угодно — это самоуправством не считалось. Лишенный власти, Дорохов не растерялся и сохранил престиж — он взял мешок и пошел добираться. Подавали ему охотно, потому что в каждой избе он повествовал о своем величии и падении. К нашему приезду его вернули на председательский пост по настоянию односельчан. Тогда им еще разрешалось слегка бузить. Взывая к начальству, они перечислили все заслуги Дорохова. Из них главная — он провел самое глубокое раскулачивание в самый короткий срок, не затребовав помощников из города.

Дорохов имел в деревне собственную каталажку, куда сажал слушников, не считаясь с их происхождением, то есть бедняков наравне с кулаками. Это не оттолкнуло от него односельчан. Его ценили за то, что он расправлялся собственноручно и в Сибирь никого, кроме “настоящих кулаков”, не загнал. Дома “настоящих кулаков” он решил использовать под ясли, клуб, избу-читальню и прочие социалистические учреждения, а пока в маленькой деревне стоял с десятков пустых и заколоченных хат в ожидании книг, библиотекарей и другого оборудования. Дорохов жаждал просвещения.

<...> У него была выразительная речь — он бурно “рванулся к культуре” и вывез из армии много замечательных выражений. “Не выходите вечером, — сказал он мне, — здесь малярийные испарения климатуры...”.

⁴² Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области, ф. 48, оп. 1, д. 21, л. 144; ф. 2, оп. 1, д. 1344, л. 126 об.; д. 1224, л. 32, 34.

<...> Дорохов для тридцатых годов был осколком прошлого. Его уничтожили, как и всех участников народного бунта, вернувшихся в деревни и городки, чтобы воспитывать народ и приобщать его к культуре. Дорохова использовали вовсю: он воевал, бунтовал, раскулачивал, а потом раскулачили и его. Во второй половине тридцатых годов его дом стоял заколоченный, как дома тех, кого он сам угрохал в Сибирь. <...>

Мандельштам распил с Дороховым бутылку водки и сочувственно слушал его речи, зная, что он обречен. Он подсчитал, сколько человек Дорохов вымел из родной деревни, но цифры я не запомнила. Она была не малой и не большой, обычной, то есть невероятной» (НМ, 2, 301—303).

Нарочитым контрастом к Дорохову — директор другого совхоза, руководитель другого типа и представитель нового стиля управления. Он возил воронежских гостей «на полугрузовичке по полевым станам. Приезжая на стан, он требовал, чтобы ему дали попробовать квасу и щей. “Забота о людях”, — объяснил он Мандельштаму, представителю прессы, и иногда разносил стряпуху за качество щей, то есть воды, в которой плавала капуста. Следующий вопрос директора был, согласно последней инструкции, относительно газет: организовано ли чтение газет — разумеется, вслух, глазами можно скользить по газете, не читая — во время перерывов. Кто читает? Рекомендовалось читать грамотно и выразительно. Изредка директор выражал свой хозяйственный восторг тем, что бросался на кучу зерна — шла уборка, готовились к молотье — и со стоном разгребал ее ручками и ножками, словно плавая в море зернового крестьянского богатства. Мандельштам глядел, проезжая, на необрунные поля и сказал мне, что на месте директора он бы перестал надуваться квасом и слегка побеспокоился — поля желтели от сорняков, которые стояли выше, чем чахлая пшеница. Директор этого не замечал, потому что еще не спустили приказа о борьбе с сорняками. Он боролся с тем, что было названо в инструкциях. Предметов для борьбы хватало» (НМ, 2, 304).

Высшей точкой исполнительского рвения этого службиста стал другой — страшный — эпизод, невольными свидетелями которого стали Мандельштамы:

«Под вечер мы выехали на поляну, где торчала еле заметная землянка. Впервые за день директор проявил прыть: вместе с шофером и тремя рабочими, ехавшими с нами в кузове, он выскочил из машины, бросился к землянке, залез на крышу и поднял пляс. Рабочие в шесть рук принялись разносить землянку ломами, а директор с шофером долбили крышу ногами. Иерархия соблюдалась и в таком черном деле: начальник и его подхалим-шофер не могли разносить землянку наравне с простыми рабочими. Им полагался отдельный участок работы, на этот раз — крыша. <...>

Убогую землянку разносили дюжие мужики, строго соблюдавшие табель о рангах. Первой поддалась крыша, что-то грохнуло, и из землянки

начали гуськом выползать люди с вещами. Одна из женщин вынесла прялку, другая — швейную машину. Мандельштам поразился, сколько народу помещалось в крохотной землянке, — уж не вырыты ли там подземные ходы? Мы еще не прочли Кафку, но знали, что у крота всегда есть запасной выход, а людям приходилось выходить прямо на своих обидчиков. “Какие они все чистые”, — сказал Мандельштам. Последней из землянки вышла женщина — там ютились старики, женщины и дети — в таком же ослепительно-белом сарафане, как другие, а на руках у нее сидел заморыш, живой трупик, безволосый, морщинистый, с зеленоватыми отростками вместо рук. (Он всегда стоит у меня в глазах как символ — чего? Жизни, действительности, реальности и всеобщей, в том числе и моей, жестокости.)

Женщинам нечего было терять, и они крыли директора густым южнорусским матом (я люблю мат, в нем проявление жизни, как и в анекдотах), но он не успокоился, пока не сровнял с землей и не засыпал их жалкое логово.

Вот судьба тех, кто по совету Зоценко вырыл в земле логово и завыл зверем. Вся земля — поле, лес, луг — принадлежит кому-то, она не бесхозна. Закончив работу, директор сел в кузов рядом с нами и пустился в объяснения: мужья либо сосланы, либо разбрелись по городам в поисках работы, а бабы “отсиживаются” на совхозной земле. Совхоз — государственное предприятие, а он, директор, ответственное лицо, не может терпеть на вверенном ему участке классового врага, кулацкое зелье... Любая комиссия, а они вечно ездят и всё проверяют, может напороться на кулацкое гнездо и обвинить его, директора, в укрывательстве. Он, директор, считает, что раскулачивание еще недоделано. Надо прямо сказать, что у нас мало прислушиваются еще к периферийным работникам. Они бы в один голос сказали, что надо было “пристроить в Сибирь” всех баб, как “пристроили” мужиков, а то с ними нет сладу. Можно и не в лагерь — есть же спецпоселения. Нечистая работа — недочистили. Закон есть закон. Приказ есть приказ. Он, директор, действует по закону и по приказу — иначе с него спросится.

Мы молчали — возражать было бесполезно: он знал, что делает. В бесполезный спор мы бы, пожалуй, ввязались, но спор с директором, исполнителем и законником, был не только бесполезен, но и опасен. <...>

Директор пригласил нас к обеду, но мы собрали вещи и с попутной машиной укатили в райцентр» (НМ, 2, 304—307).

В Воробьевке Мандельштамы зашли в райком попрощаться с А. Долгушевским,⁴³ секретарем райкома («Воробьевского райкома / Не забуду

⁴³ Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области, ф. 48, оп. 1, д. 90, л. 30. В 1934 г. он был начальником политотдела Воробьевской МТС, а секретарем райкома в это время был А. Га-

никогда»). «По его лицу было видно, что он скатился в захолустный городок откуда-то сверху. Ему мы решились рассказать про землянку и спросили, нельзя ли что сделать. Он развел руками... Не отвечая на вопрос, он спросил, много ли бродит нищих по Воронежу. Их было уже меньше, чем в тридцать четвертом, когда мы туда приехали. Обозы же с раскулаченными как будто исчезли к тридцать третьему. “Значит, идет на убыль”, — сказал секретарь и прибавил, что нищие, бродячие и те, что в землянках, еще легко отделались (“Лес рубят — щепки летят”). // С его стороны такие слова были неслыханной смелостью. При незнакомых людях он произнес крамольную фразу, за которую можно было угодить на десять лет. Секретарь, конечно, приложил руку к “великой аграрной революции сверху”, но нам показалось, что он делал это без энтузиазма. Допускаю, что мы приписывали ему свои чувства, потому что у него было интеллигентное лицо. У директора морда была хамская — животное, пляшущее на крыше. Мы простились и укатили на грузовике, с которым нас сосватал секретарь» (НМ, 2, 307).

Итак, уже назавтра, 1 августа, переполненный впечатлениями поэт засел за очерк: «Оська пишет очерк — и, вроде рецензий, — по секрету. Я и рад, т. к. цену в нем только стихи, остальное интересно только как материал к ним или пути от них вовне» (СР, 80).

Но уже через день — 2 августа — от журналистского энтузиазма и писательского подъема не осталось и следа: Мандельштам написал очерк, отнес его в «Коммуну», — и... очерк забраковали!

Но разве не он, Мандельштам, написал эти слова: «Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве»? Он!

Но выясняется, что поэт, даже если захочет, даже если «пофигуряет Мандельштамом», то *не может* написать «как надо»! Не может выполнить добровольно принятый и морально предоплаченный заказ!

Вот сначала, в передаче Рудакова, слова, сказанные ему Надеждой Яковлевной: «Это медленное выживание человека — давать ему работу, ему чуждую, но, по сравнению с Москвой, и рецензии, и радио, и статья в газету — невероятная свобода. Всё это рано или поздно приведет к тупику. Но каков он? Опять бросаться в окно? Те годы разлада кончились стихами и... Воронежем... Ося цепляется за всё, чтобы жить, я думала, что выйдет проза, но приспособляться он не умеет. Я за то, чтобы помирить...» (СР, 80).

А вот слова самого Мандельштама: «Я опять стою у этого распутия. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не го-

белев (см. их совместную статью об успехах района: Перед новым туром соревнования // Коммуна. 1934. 22 ноября. С. 2).

нят сейчас. Но делать то, что мне тут дают — не могу. Я не могу так: “посмотрел и увидел”. Нельзя, как бык на корову, уставиться и писать. Я всю жизнь с этим боролся. Я не могу описывать, описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать, почему это радиус зрения начинается за одиннадцать часов ползучки от Воронежа. Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд, а Москвы не могут увидеть. Эти “понятники” меня с ума сведут, сделают себе же непонятным. Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках), которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. “Ах! Ах!” — и только; написал рецензии — под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается всё мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортьюнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало опять большой пустоты. Я думал, что при доброжелательности — жизнь придет, подхватит “фактами” и понесет. Но это была бы не литература. А пробиться сквозь эту толщу в завтрашний или еще какой день не могу, нет сил. О нашей жизни говорить еще рано, надо действовать. Можно уже стихами, и то потому, что они свое знание вкладывают, привносят. А давать черновики, заготовки прозы я не умею. У меня полуфабрикат ужасен, я или ничего не даю, или уже нечто энергетическое. Я хотел очерком подслужиться. А сам оскандалился. Стихами — кончил стихи; рецензиями наплел глупости и отсебятины; очерком — публично показал свое неумение (он его показывал в редакции, и там сказали, что плохо). Это губит всё. И морально, и материально. И бросает тень сомнения на всю мою деятельность и на стихи» (СР, 80—81).

И далее — комментарий самого Рудакова как академика-таксидермиста: «Киса — это запись почти дословная, только очень сокращенная. В жизни это причитания, почти слезы. Но не психование. Всё трезво, и есть вывод за целый период. Надеюсь, что оно минет. Что ни нового безумия, ни самоубийств не будет. Но по тому, как подтянулась Надин, и по ее словам о сходстве состояния с первым случаем, да и по собственному наблюдению — вижу, что скверно. Вся его “деятельность” — не выход. Положение скверное и упирается в тупик материальный. Но беда не так близка, дело не в ней, а в том, что Мандельштам взвыл от халтуры. Не тот Осип Эмильевич (или Ося), что с нами обедал, а гениальный, равный Овидиям и чувствующий, что стихи трещат. Здесь даже ирония не напрашивается, и Оськой зову его только по привычке. <...> Если б не было неловко (немыслимо), записывал бы всё при нем. Много блестящего, но это было бы кощунство — человек чуть ли не вены вскрывать

себе (в 3-й раз) хочет, а я с карандашиком каждое словечко уловляю. Может быть, он хвалил свою “Скрипачку”. О всем воронежском периоде говорил как о сломленном и недостроенном. Корректуры рецензий отнесены в “Подъем”⁴⁴ после мучений: “Может быть, их снять?” Мы с Н. уговорили не снимать. Через несколько часов я нашел на полу четвертушку бумаги: конец рецензии о метро. // Оська — к Н.: “Надюша, убери этот селедкин хвост — он воняет и перетух”. Это совсем не смешно. Теоретически сложность какая! Все, он (и я) об этой самой жизни, а вот прямо описывать ее нельзя. // Кит, всё это утомительно и на такой высоте, как сегодня, держаться не может. Но бежать от этого и беречь себя не хотел» (СР, 81).

Спустя еще один день, 3 августа, Мандельштам начал приходить в себя и успокаиваться: «Китуся, у Оси пожар сердца почти кончился. Т. е. начинается залгание действительного положения вещей (это от слов “зализывание” и “лгать”). Деталь ко вчерашнему, к вопросу об “описании”. Он: “Почему это санкция, поощрение должны быть двигателями литературы? Меня в рай пусти — я его не опишу, хоть меня и будут просить это”. А сегодня — “Отобраны, заложены жизнь и смерть — выданы ломбардные квитанции. То же у других людей. И идет разговор с помощью квитанций, а настоящее всё спрятано — концы в воду. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь — это же движение, действие, событие — его нельзя описать. Я должен писать белые стихи, но не обычные — без рифм пятистопные ямбы, а мои — вроде «Нашедшего подкову», где всё держится на прозаическом дыхании, кусками, члененно, за пунктами. Чтобы эпитеты стояли, как в оде, на своих местах: бум, бум, бум и БУМ!..”. Я: “А отчего нельзя это в обыкновенных стихах?” (Я-то ведь ненавижу “Нашедшего подкову” etc.) Он: “Всё от обмеления словаря, а это — от воронежского оскудения интеллекта. Не читаю книг, не спорю, и вы-то (т. е. я) со мной не говорите, не спорите”. // Далее опять о том, что всё обмелело, есть только квитанции, а не смысловые слова. Киса, всё это параллельно попыткам писать большую прозу, где “очерк”, может быть, будет как эпизодический момент» (СР, 82).

Что касается самого очерка, то 3 августа, призвав на помощь жену, Мандельштам снова сел за него. С горем пополам они его закончили (СР, 83), но реакция редакции осталась такой же: «Фу!»

⁴⁴ Речь явно идет о рецензиях на книги М. Тарловского (Рождение Родины. М., 1935) и А. Адалис (Власть. М., 1935), опубликованных в № 6 «Подъема» за 1935 год (сдан в производство 16 августа 1935 г.). Этот номер оказался последним в 1930-е гг.: выпуск журнала был прекращен до 1956 г.

Зато реакция Мандельштама на это «фу» была уже спокойной, а очерк так и не был опубликован.⁴⁵

И все-таки хочется понять, каким он был, этот очерк, вызвавший такую фрустрацию и у автора («блуд», «блуд труда»), и у газеты. Ведь антисоветским он точно не был!

До нас этот очерк, увы, не дошел, но немалочисленные наброски к нему сохранились (3, 423—439). Изучая их, видишь, с каким интересом Мандельштам — вчерашний писатель-попутчик и одиноличник, а сегодня и сам кандидат в литературные колхозники и беспартийные большевики — присматривается к реальной коллективной жизни на земле, да еще в двух ее трудноразличимых ипостасях — колхозной и совхозной.

Смотрит он явно не через розовые очки: так, от него не укрылся закат Воробьевского сельского театра, на открытие которого он приезжал за полгода до этого, — нет в нем ни зрителей, ни артистов, — да и неоткуда им братья. «Театр без продолжающей культурной работы — культурстрахота» (3, 426), — говорит он секретарю райкома, и тот согласно кивает.

И, тем не менее, Мандельштам смотрит на всё с явным желанием укрепиться в мысли о правильности избранного страной пути, увидеть в нем встречное творческое, низовое, горизонтальное начало, в том числе и в сфере культуры. Но для этого пришлось бы радикально переформатировать само содержание культуры, сведя его чуть ли не к быту и гигиене.

«Мы стояли ночью на улице воробьевского зернохоза и говорили о том, что у нас называют культурой, т. е. о глубине деятельной социалистической жизни. Начполит дал этому ночному разговору неожиданный оборот: “Вот и мы ведем борьбу, даже объявляем кампанию: «За культурную тряпку для тракториста»: она вся промаслена, пыль на нее садится”. // Звезды, культура и эта тряпка. // Мне кажется, такого умения, такой потребности обобщать детали мир еще не знал. Этой тряпкой будет стерто всякое общее место, всякая фраза: т. е. всё гиблое, проваливающееся, притворяющееся, пустое. // Звездам чуточку стыдно: достаточно ли они конкретны? // <...> Культура не есть мертвый инвентарь. Ее нельзя выписать из склада. Нельзя развозить на автомобиле, как думает рабочком совхоза <...>, мечтая об авт<омобиле> для эст<етики> обл<асти>» (3, 427).

⁴⁵ Кстати, в «Коммуне» в эти дни дважды — 29 июля и 3 августа — публиковались материалы из Воробьевского района, подписанные именами собкоргов газеты М. Морева и Т. Мурдасовой. Если бы поэт и его жена находились в командировке вдвоем, а не в составе журналистской бригады, то могло бы возникнуть подозрение: а не этой ли парочки, спрятанной за столь странными псевдонимами, это рук дело? Но — Морев лицо историческое, так что гипотеза эта несостоятельна.

Мир без культуры (а, стало быть, и колхоз без культуры) неприемлем. Но как соединить и как примирить культуру акмеистическую, культуру-тоску — и культуру социалистическую, культуру ветошную, культуру-«тряпку»?

Где-то здесь и произошло «падение» Мандельштама, за которое он потом клеймил себя: в очерке он прошел свою, как ему казалось, часть этого постыдного пути навстречу «тряпке», но власть — в лице «Коммуны» (Плоткина? или самого Елозы?) — не оценила этого и даже, наоборот, возмутилась тем, что он не пошел дальше.

Что-то похожее в свое время испытал Клычков, написавший в 1933 году для «Известий» очерк «Зажиток» — о колхозной сытости! Очерк был отвергнут редакцией, а Осип Эмильевич еще иронизировал: «Сергей Антонович истратил всё свое масло из закрытого распределителя в Златоустинском переулке на колхозные блины».⁴⁶

Теперь уже сам шутник оказался в аналогичном положении. Между поэтом и властью вновь случилось стилистическое несоответствие, как это было и с «Шумом времени», и с «Путешествием в Армению». Власть исподволь вручала поэту пакет с неявным заказом и явным шансом повести себя правильно, а тот уклонялся и всё норовил сказать что-то свое и по-своему.

И не потому что не хотел, а потому что так и не научился, потому что не мог!

Тамбовский нервный санаторий

Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов...

О. Мандельштам

19 ноября 1935 года Мандельштам осмотрел психотерапевт обкомовской поликлиники: диагноз — «истощение нервной системы», рекомендация — месячный отдых в санатории. Заключение огорчило поэта, чье тайное упование было иным — с помощью болезни и врачей вырваться из Воронежа и переехать в восточный Крым.

Тем не менее, идею санатория он не отверг. Обсуждались два варианта — то ли Липецк (общий), то ли Тамбов (нервный). При этом Надя поехала бы не с ним, а в Москву, надеясь на подстраховку со стороны Рудаква.

⁴⁶ Сергей Клычков: Переписка, сочинения, материалы к биографии / Публ. и сост. Н. В. Клычковой, вступ. статья, подгот. текста, коммент. С. И. Субботина // Новый мир. 1989. № 9. С. 213.

После очередного приступа «столбняка», застигшего Мандельштама прямо в театре, в дело вмешался С. О. Вольф, директор БСТ (Большого Советского театра), твердо решивший отправить своего главлита на лечение. Статуса персонального пенсионера у Мандельштама уже не было, и, по настоянию Вольфа, его оформили на месяц как «старого работника» театра.

22 декабря попечением театра за полчаса до поезда к «меблирашкам» была подана машина. Мандельштама привезли на вокзал, поднесли ему чемодан, усадили в вагон. Вагон был общий: царство грязи, портяночного зловонья и полифонического храпа. Зато повезло с проводником: тот сжалился и взял поэта в свое купе.

В Мичуринске была пересадка, и вот, наконец, в два часа ночи — Тамбов. На вокзале — «трескучий мороз» и дровни, присланные из санатория. Долгая езда через погруженный в сон губернский город — лошадиное фырканье и извозчицкое «тпру...» перед «палаццо, напоминающим особняк Кшесинской, увеличенный в 10 раз и охраняемый стариком с ружьем и в тулупе» (4, 163).

Встретили здесь Мандельштама по-царски — усадили в теплую ванну, забрали в стирку белье, напоили чаем и уложили до утра в огромном кабинете. Разве плохо?

Санаторий хотя и назывался «нервным» (неврологическим), но оказался скорее кардиологическим: бригадиры и трактористы, летчики и учителя везли сюда свои преданные партии, но потрепанные и изношенные сердца, словно обувь в починку.

Утром Осипа Эмильевича осмотрел врач и назначил ежедневные соновые ванны и, поочередно, два вида электризации «франклин»⁴⁷ — общую и позвоночника (главное их достоинство — безвредность).

На что, собственно, жаловался ему Мандельштам? — На повышенную возбудимость сердца, проявляющуюся в скачках температуры и пульса: «При этом я вполне бодр, хочется гулять. Но встречи с людьми волнуют. Разговоры утомляют. Чтение — тоже. Надо ставить вопрос серьезно, — плоть до особого заявления в НКВД о необходимости лечения в полноценной обстановке» (4, 165).

Через пару дней пара врачей, осмотрев Мандельштама и сославшись на скромность своих возможностей, послала его в город на рентген сердца и легких. Поглядев на снимки, они же сказали: «Сердце — возрастная норма. Никаких, говорят, аномалий. В легких — уплотнение желез. // <...> Внимательны очень. Самое серьезное наблюдение. Слушают, стучают каждый день. Диету дали особую» (4, 166).

⁴⁷ Электризация при помощи статического электричества (по имени физика Б. Франклина).

Сам поэт тоже поставил себе «диагноз» — глубоко философический: «Надо терпеть. Главное — это остановка невероятного движения, в котором я находился. Переход к “статике”» (4, 164–165).

С ходу принял Мандельштама и директор санатория, поначалу позволивший гостю попривередничать с помещением: палаты-де здесь на десять человек, самые роскошные — на пять, да вот окна открываются не в каждой — заклеены на зиму; постельное белье («комплекты») и там, и здесь одинаково ужасно. Директор выслушал поэта и, подивившись его капризам и капризности (а он и сам писал тогда жене: «Я капризник. И всё» — 4, 166), поместил его поначалу вдвоем в пустой палате на десятилетиях, но предупредил, что это временно.

Осип Эмильевич, привыкший бывать в домах отдыха если и вдвоем, то с Надеждой Яковлевной, уже заранее пугался и чурался любого иного общества. После завтрака он вышел из корпуса и, пройдя буквально пару шагов, снял чудесную комнату с зачехленным диваном, граммофонной трубой и кактусами.⁴⁸ Поступок, сильно напоминающий съём первого жилья в Воронеже — неотопливаемой поварской терраски возле Бринкманова сада. Когда выяснилось, что в снятой комнате невыносимо холодно, а за дрова надо платить отдельно, восторг поубавился: «В нанятую комнату не решаюсь переехать: холод там. Дал десятку задатку и отбираю молоком. Хожу туда, когда невтерпеж. Все-таки что-то свое — на час-другой» (4, 166).

Санаторное «палаццо»⁴⁹ и новая «вилла» Мандельштама стояли рядышком на высоком берегу заснеженной Цны, показавшейся широкою, словно Волга.⁵⁰ Глаз не оторвать от открывающегося вида! Окоем за рекой «переходит в чернильные синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслажденье. Очень настоящие места» (4, 164).

Ровно через год — 24 декабря 1936 года — это отзовется и в стихах:

Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый-белый бел-покров.

Тамбов Мандельштаму очень понравился. Вот как поэт описывал его Рудакову: «Чудный губернский город. Река. Снег далеко-далеко. На нем

⁴⁸ Дело, видимо, в том, что срок санаторной *путевки* начинался у Мандельштама только 5 января, а до этого времени у него на руках была только *курсовка*, связывавшая постояльца с заведением только по линии лечения и вполне допускавшая проживание и даже питание в частном секторе.

⁴⁹ Бывший дом купца Асеева с мраморным внутренним убранством.

⁵⁰ Волгу с ее ширями О. Э. видел до этого разве что в книгах и из окна ленинградского дневного поезда.

точечки гужей. Лес. Перелески под снегом. Движенья никакого. Только баба в платке пройдет. Сугробы. Чудные дворянские особняки, какие могут быть и в германском старом городе, и в Тамбове; деревянная — по Щедрину — каланча. Один автомобиль на весь город. Лавок не мог обнаружить — мне нужно было пуговицу купить. Воронеж столица просто» (4, 164).

26 декабря, на третий день пребывания, Мандельштам покатыл на городском автобусике в центр города, в музыкальный техникум. Навстречу ему попадались каланчи, «одичавшие (его выражение!) монастыри» и всё больше — «толстые женщины с усами».

Собираясь в Тамбов, Мандельштам запасся рекомендациями: так, начальник радиокомитета Горячев написал записку местным музыкальным знаменитостям — заслуженному артисту и директору музтехникума Реентовичу и композитору Григорию Сметанину.⁵¹

В музтехникуме местные скрипач и пианист сыграли ему сонату Сметанина — совершенно ужасную, но уже назначенную к исполнению в Воронеже. Объявился и сам композитор, тут же пригласивший поэта к себе домой на ужин.

27 декабря Мандельштам писал жене, что, с одной стороны, место «неуклюжее» и без нее ему здесь скучно, что это «полумера» и что он едва не «решил возвращаться в Воронеж», а с другой — что объективно («невзирая на всё нытьё») ему здесь всё же лучше, чем в Воронеже в ее отсутствие (4, 165).

А по жене он скучал страшно! Уже в первом письме из Тамбова взывал: «Надик, скучаю по тебе безумно. Сделай какую-нибудь глупость и приезжай ко мне. / Надик, я так тебя люблю, что нельзя сказать. У меня нет твоей карточки. Где ты, родная? Скорей ко мне. Ау, детка? / Надик, люблю тебя. Отвечай. / Няня твоя». И спрашивает: «Скажи, можно ли тебе звонить утром в 8.30?» (4, 164).

Но настроение было переменчивым.

28 декабря — радость, встреча с Пушкиным (гость нечастый): «Дни идут хорошо. Привыкаю. Сегодня был голубой мороз. Я достал Пушкина. Это у меня редкость. За него, знаешь, никогда почти не хватаюсь» (4, 166).

А 29 декабря — совсем другой настрой: «Ох, и нудно же здесь! Спать не дают. Деликатные молодые люди, на цыпочках, в русских сапогах с 3 часов ночи ходят через палату» (4, 166—167).

⁵¹ Григорий Александрович Сметанин (1894—1952) — композитор и музыкальный функционер, в описываемое время — председатель Воронежского отделения Союза композиторов СССР и заведующий композиторским отделением музыкального техникума.

Но с одним отдыхающим поэт все-таки подружился: «Я тут брожу с одним пареньком. Он тракторист. Способный, открытый, но думает, что во Франции Советы и что Францию переименовали в Париж. Я его крбю, а он ко мне привязался, большевиком меня зовет» (4, 167).

Об этом же пареньке писал своей жене и Рудаков: в Тамбове, мол, Мандельштам «...психовал. Сдружился с одним трактористом, который ему говорил: “Ты уезжай — они (больные) тебя не любят, они тебя избить хотят”. А эпизоды были такие. О. Э. всё искал покоя и кочевал из палаты в палату (изводя персонал). Нашел пустую. Лег. Человек восемь больных стали в нее барабанить. Он выскочил и стал орать, зовя их сволочами etc.; вызвал глав. врача; пять убежали, три остались. Один из трех обиделся за ругань на О. Э., а тот — “Назвал сволочами, и правильно сделал...”. Тогда, как О. Э. рассказывает, тот устроил красно-партизанский припадок. О. Э. в полубелье бежал в кабинет врача, а под сводами санаторского особняка громыхала партизанская брань. Утром — мир» (СР, 123—125).

Новый Год поэт встречал в санаторном, на людях, одиночестве, о чем писал 1 января: «У нас вчера ночью гремел военный оркестр и были разные игры: Чехов в больничном халате, удочки с кольцами» (4, 167).

1 января: «Здесь так плохо, что очень многие уезжают до срока. Неизбалованные работники районов. Все за счет организаций. Чай без сахара. Шум. Врачи — вроде почтовых чиновников» (4, 167).

Еще в самые первые дни своей «курсовки» Мандельштам договорился с директором о следующей «сделке»: «Если захочу уехать до 5 января — он “покупает” у меня путевку (месячную), удерживает за прожитые дни и выплачивает разницу. Эта воображаемая сделка сразу меня освободила» (4, 166).

1 января: «Завтра я должен оформить с директором продажу путевки. Выезжаю 5-го или даже раньше. С блаженством! Эти дни вроде дурного сна. Какой-то штрафной батальон... Денег мне в В<оронеже> до 20-го хватит. 15-го жалованье в театре. 15-го же вернусь на работу» (4, 168).

2 января: «Если будет билет, уезжаю завтра (3-го). Деньги возвращают. Попутчики есть до Воронежа. Я очень доволен. Радуюсь Воронежу, как родному» (4, 169).

«Могу уехать в *любой* день и *после 5-го* с возвратом денег (заверение главврача, сегодня). / Я всё же думаю выехать пятого. В Воронеже как-то ближе к тебе. И перемена будет полезна» (4, 169).

А что же здоровье, поправить которое намеревался Осип Эмильевич?

1 января: «Главный мне вчера сказал: вам нужно заведение закрытого типа, где лечат средние формы легких психопатий (там-де комнаты на одного и двух). Честное слово, он так сказал! — послушав меня две минуты. За 10 первых дней я прибавил 600 гр веса (для младенца недурно).

За месяц здесь многие теряют в весе. Похоже на школу-пансион из Диккенса. Другой врач говорит: “Вес для невротиков неважен”. Да, еще: гл. врач меня спросил: в каких клиниках я был до Тамбова.

<...> Физически я здоров (думаю, что *не только физически*). Надо лишь окрепнуть. Я лишь *могу* заболеть, если *придавленность* не будет устранена» (4, 168).

2 января: «Врачи меня отказываются здесь держать. Говорят: вас по ошибке к нам, формально, загнали. Со мной ничего худого нет, но мне не лучше. Буду объективен. То же самое, а обстановка здесь просто вредна (мнение врачей)» (4, 168–169).

И — в тот же день: «Вес — 66 кило, и ни с места. Слабостью я называю “комнатную легкость в теле” — и только. Внешний вид — довольно дрянной» (4, 169).

3 января (внимательно вслушиваясь в себя): «Что со мной? Что бо<лит>? Ничего не болит. Кишечник здоров, как никогда. Катар горла прошел. Как настроенье? Неровное. Санаторий вызвал депрессию. Ожиданье обострено. Обстановка не переваривается. Ассоциации протекают болезненно (как и обычно без тебя). Физическое самочувствие? От ходьбы сердцебиение (не сразу; иногда приступ ускорения пульса, с которым справляюсь, сознательно борюсь и побеждаю). Вчера съездил на вокзал с письмом — освежился, купил “Кр. Новь” с дрянными стихами доброго Зенкевича и Талмудом Зощенки. Температуру мерил 2 раза наугад: 37,2 как вылитые. Очевидно — это норма. Сон — хороший, когда не мешают. Ночью самовольно перебрался в пустую комнату на пятерых. Закрепил ее за собой. Гораздо лучше. Днем подремываю» (4, 169).

А вот интегральное впечатление Мандельштама от пребывания в Тамбове — в передаче Рудакова: «Врачи казенные, только ухудшают в больных веру в болезни, больные серые: 15% нервных, 20% утомленных, остальные — премированы путевками. Один учитель, начальник отделения милиции уже высшая интеллигенция. <...> [Его собственный] психоз прогрессировал, что создалось чувство, будто он не может сам уехать оттуда etc., etc. Похудел, подхватил гриппок, а тут еще Панов» (СР, 124).

Девять дней без адреса

«Циклическое реактивное состояние...»

Из диагноза

«Панов» — это сюрприз, который поджидал Мандельштама в «меблирашках»: их комната — с радостного согласия, если не по инициативе,

«мышебойца» — была в их отсутствие занята! Семейей литератора Панова, кстати, никак не засвеченного в документах Воронежского ССП.⁵²

Девять дней и ночей Мандельштам кантовался у воронежских коллег и друзей. Как минимум две ночи — где-то в Троицкой слободе у Пескова (ему Осип Эмильевич даже читал стихи!) (СР, 122—125), еще по одной — у Вольфа и у писателей Сергеенко и Булавина. Писатели приняли участие в мытарствах Мандельштама — не только приютили, но и возили на машине к прокурору, распорядившемуся: срочно освободить комнату!

Но Панов игнорировал и прокурора. Избавиться от него удалось только через девять дней — с помощью сердитого окрика из НКВД, куда с просьбой о вмешательстве обратился уже не Союз, а более авторитетная «Коммуна», — видимо, как в организацию, ответственную за ссыльных.

Воронежские писатели, один моложе другого, радушно угощали гостя скверным пойлом (самогонкой или портвейном) и, не считаясь с его состоянием, держали в своих прокуренных кухнях до самого утра. Один из гостеприимцев — Булавин — вспоминал, как в своей небольшой двухкомнатной квартире на пятом этаже⁵³ проговорил с поэтом до трех ночи — немного о войне (испанской?), немного о литературе, но больше — о бытовых вопросах и невзгодах.⁵⁴

Однако: до трех часов ночи!.. А ведь перед ним сидел валяющийся с ног, еле-еле взобравшийся на пятый этаж человек, с натянутыми после Тамбова, словно струны, нервами, отрешенный от своего законного жилья, словно Парнок от визитки, и к тому же недоумевающий: почему же при таком отчаянном положении всё никак не приедет Надя?!..

Последнюю свою изгнанническую ночь или две Мандельштам провел в более близком и успокоительном окружении — у Феди (Федора Яковлевича) Маранца (1887—1943), доброго знакомого Нади Хазиной еще по Киеву. Став Надеждой Мандельштам, она так написала о Феде: «В последний воронежский период (стихи из Второй и Третьей тетрадей) мы шли к Наташе Штемпель или зазывали к себе Федю Маранца, обезьяно-

⁵² Возможно, Осип Эмильевич и сам пустил Панова на время своего отсутствия, как возможно и то, что у него просто накопился долг перед «мышебойцем». К сожалению, ничего, кроме фамилии, о Панове мы не знаем: его нет даже в широком (из 142 фамилий) списке делегатов пленума Правления ССП Воронежской области, где числится только т. Панова из Обкома ВКП(б) (ГАВО, ф. 2829, оп. 1, д. 1, л. 6—11).

⁵³ По адресу: ул. 11 Мая (ныне Театральная), д. 11, кв. 39.

⁵⁴ *Гыдов В. Н. О. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М. Я. Булавина). С. 35.*

подобного агронома, прелестнейшего и чистейшего человека, готовившегося в скрипачи, но случайно в юности испортившего себе руку. В Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые, но его музыкальное чутье делало его лучшим слушателем, чем многих специалистов» (НМ, 1, 147—148).

Сам Федор родился в Вене, в купеческой семье, до 1914 года жил в Австрии и Германии. В ранней молодости он учился на скрипача, но повредил руку и в итоге, закончив Аграрную академию в Бонне, стал агрономом. В 1914 году переехал в Россию — в Киев, а затем в Крым и Воронеж. В самом начале 1930-х гг. заведовал отделом в Крымской конторе американской концессии «Агро-джойнт», а с апреля 1932 года — агроном-плановик воронежского Сортсемтреста. Его жена — Елена Яковлевна (урожденная Эпштейн), вместе с сестрой Норой, проживавшей в том же доме для инженерно-технических работников (ИТР) по Итээровской улице, что и позднее Мандельштам, попала в шуточное стихотворение «О, эта Лена, эта Нора...» (ЯН, 51).

В Воронеже Федя с семьей жил в отдельной квартире в большом доме напротив Петровского сквера (Поднабережная улица,⁵⁵ д. 59, кв. 29). Здесь у него позднее остановится Ахматова. Здесь-то и застал Мандельштама Рудаков в вечер накануне водворения в «меблирашки».

Как и когда Мандельштамы впервые столкнулись на воронежских улицах с Маранцем, мы не знаем, но произошло это не позже осени 1935 года. В записях Рудакова его имя впервые всплывает 20 и 23 октября в связи с попыткой помочь устроить последнего на работу в управление железных дорог (куда ссыльных не брали) или хотя бы раздобыть для него «халтуру», то есть домашние заказы (СР, 95—96).

10 августа 1938 года — на излете ежовщины — был арестован и сам Маранц. Он не подписал ничего, и 28 сентября 1939 года — уже при Берии — дело его производством было прекращено. Но из тюрьмы он вышел «больным и растерзанным человеком» (НМ, 1, 148). Дальше судьба Маранца, увы, не прослеживается: скорее всего, он снова попал в лагерь и погиб.

11 января, наконец, выписался из больницы и Рудаков. Богомоллов назначил ему добровольный двухдневный карантин — чтобы не «обангинить» Осипа Эмильевича. Но чтобы Рудаков о таких пустяках, касающихся не его лично, помнил! Он тут же бросился искать Мандельштама в меблирашки, а там никого!

Сосед по комнате Троша рассказал ему о Панове и сообщил, где, скорее всего, ночует Мандельштам. И назавтра — в обществе Троши — Ру-

⁵⁵ С весны 1938 г. и по сей день — улица 20-летия ВЛКСМ.

даков отправился к Пескову на поиски пропавшего «Оськи», где, кажется, и застал его, но в удручающем и не предполагающем разговора состоянии. А на следующий день, 13 января, состоялись еще две встречи — днем, в «Коммуне» и Союзе Писателей, минут на 15, и вечером — у Маранца.

Вот рудаковское описание первой из этих встреч: «Вхожу в комнату Союза писателей. О. Э. небритый, энергичнейше кричит в телефон (логически) по тому поводу, что милиция завольнивает решение прокурора вернуть комнату, отогнав Панова. Мне — глубочайший кивок и улыбка. Сажусь на диван. Он подходит — на шаг — боится здороваться. Идем в коридор. Он возбужден и развинчен, он совершенно сбит с толку: моей болезнью и страхом инфекции, поездкой в Тамбов, комнатой. Первые три минуты разговор не находит тона. Решаем встретиться у Маранцев в 6—7 часов. Впечатление полного разложения психики, глаза блестят» (СР, 124).

Вечером же, у Маранцев, — пили чай и просто радовались встрече: «Все-таки такого другого человека не знаю. Пусть бы только стихов побольше писал. О том, чтобы они были хорошими, видно, черти заботятся» (НМ, 1, 125). В этой атмосфере поэт почти пришел в норму: «Боже, как дивно Мандельштам говорит. Вот это язык и мысль. Хотя общее нервное беспокойство. Квалифицируют это как циклическое реактивное состояние. Интересно, что эта тамбовская нервно-санаторная формула терминологически совпадает с моими тетрадными записями» (СР, 124).

В тот же день, 13 января, прибежал в Союз с раскаяньем и Панов: «Дяденьки, больше не буду!..» В НКВД, видимо, посмеялись, но «мышебойцу» позвонили.

И вот, 14 января, Мандельштам водворился опять в «меблирашке», и даже рудаковские галоши дождались своего хозяина! А «водворившись», успокоился еще больше, и вечером даже пошел с Рудаковым в театр — на пьесу своего бывшего соседа по Дому Герцена Афиногенова «Далекое». Спектакль не понравился обоим, но Рудаков заскучал и убежал с него, оставив поэта наедине с его проблемами (СР, 126).⁵⁶

А назавтра — и снова на следующий день после водворения в жилье! — вернулась и Надежда Яковлевна. Аккурат ко дню рождения мужа, к 45-летию!

По ее рассказам (опять-таки в записи Рудакова) — «всё московское до гибели неутешительно. <...> “Новь” — миф утешающий. Нервно О. очень плох, а о Москве всего не знает. <...> Вечером же с Н. ссора с криками

⁵⁶ И еще через три дня: «У Осек волнения и всякие тревоги, планы и их крушения. Всё на тупик похоже и, кажется, всё правда плоховато у них» (СР, 126).

и обоюдной бранью. Потом Н. мне потихоньку о радостях московских» (СР, 126).

Но физическое и душевное состояние Мандельштама — аховое: «У О. Э. ужасные минуты почти безумия сменяются ясностью. Циклы, циклы! И сердце — реально плохое минутами. За два часа до вокзала — скис. Побледнел: “С. Б., а я, часом, не умираю? Со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает...” Короткое отлеживание, пауза — и улучшение» (СР, 126). Так что день 45-летия поэта не задался (СР, 127).

Выдворение Панова и водворение в «меблирашку» Мандельштамов не ослабило напряжения с «мышебойцем». Еще в декабре Наташа, хозяйка, уговаривала Мандельштамов «переехать в какую-нибудь дешевую и хорошую комнату». Дело было только за комнатой.⁵⁷

Как и Вдовин, Адриан Федорович выпивал, но, опьянев, буянил. Прикладывалась к чарке и главная хозяйка — Наташа.⁵⁸ Такая жизнь под вольтовой дугой полу-скандалов и полу-мира не устраивала, в общем-то, никого.

Конфликт, судя по отчетам Рудакова, достиг своего апогея на стыке февраля-марта 1936 года. 27 февраля он писал: «Сейчас масса мерзких деталей с квартирохозяевами у О. Сюда относятся: крики, вопли, выключение света, снова крики, на них ответные психованья — всё очень подробно» (СР, 152).

Так что как только представилась возможность переменить крышу, Мандельштамы ею воспользовались.

В итэровской многоэтажке

Карлик-юноша, карлик-мимоза...

О. Мандельштам и С. Рудаков

Это произошло 14 марта 1936 года — спустя месяц после отъезда Ахматовой. Они снова сняли дальнюю комнату в квартире из двух смежных.⁵⁹

Четвертая квартира Мандельштамов находилась тоже в самом центре — в большом пятиэтажном кирпичном доме (так называемом «Итэровском») на углу улиц Фридриха Энгельса (бывшей Малой Дворян-

⁵⁷ Из письма Н. Я. Мандельштам С. Б. Рудакову от 9 декабря 1935 г. (СР, 117).

⁵⁸ См., например, запись от 6 марта 1936 г. (СР, 155).

⁵⁹ Хозяйкой квартиры была женщина, имя которой осталось неизвестным.

ской) и Итээровской.⁶⁰ Растянувшись углом на шесть подъездов, он занимал чуть ли не полквартила. В то время нумерация квартир начиналась с улицы Энгельса.⁶¹

Это один из первых в Воронеже кооперативов, причем взносы были как денежные, так и трудовые. Дом был сдан совсем недавно, в конце 1935 года, и считалось, что — со всеми мыслимыми удобствами. Увы, это было не так. Канализация не работала, и на первое время во дворе была устроена одна — на весь огромный дом — крошечная и до предела загрязненная уборная.⁶² Ванна у Мандельштамов также была покрыта простыней — из-за каких-то затянувшихся водопроводных недоделок вода текла только по кухонному стояку.

Комната была неуютной и выглядела пусто, хотя и была основательно меблирована: шкаф и стол впритирку, две кровати у разных стен, тахта посередине, а у порога — три чемодана один на другом.⁶³

В проходной комнате жил молодой журналист и завзятый бильярдист Дунаевский, он же — «карлик» из шуточного четверостишья: «Карлик-юноша, карлик-мимоза / С тонкой бровью — надменный и злой... / Он питается только Елозой / И яичною скорлупой».

Почему «карлик»?

Рудаков объяснял это специфически: мол, провинциальный журналист — на фоне столичных «гигантов» (СР, 165). Но скорее объяснение куда проще: обыгрывалось имя хозяйки, а звали ее Клара Васильевна (СР, 180). «Карлик» Дунаевский, вероятней всего, приходился ей не съемщиком, а сыном.

Мандельштамы называли его еще и «артистом» и, как водится, подозревали в том, что он приставлен за ними наблюдать. Приехавшей на

⁶⁰ Ныне ул. Чайковского.

⁶¹ В частности, сообщивший это А. С. Глауберман жил в квартире № 2 в самом дальнем от угла подъезде по ул. Ф. Энгельса. Стало быть, номер квартиры справа на 2-м этаже следующего подъезда, комнату в которой снимал Мандельштам, мог быть только 13. В войну дом был разрушен; его отреставрировали, оштукатурили и перепланировали квартиры. Сегодняшний номер интересующей нас квартиры — 39 (еще одна загадка: в письме Мандельштама Е. Я. Хазину от 10 апреля 1936 г. указан такой адрес: ул. Ф. Энгельса, 13б, кв. 5).

⁶² РГАЛИ, ф. 1893, оп. 3, д. 340, л. 39—40.

⁶³ Из рассказа Н. Е. Штемпель В. Борисову 27 июля 1967 г. (см.: *Лето 1967 года в Верее: Н. Я. Мандельштам в дневниковых записях Вадима Борисова* / Публ. и подгот. текста С. Василенко, А. Карельской и Г. Суперфина; Вступ. заметка Т. Борисовой // «Посмотрим, кто кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. М., 2015. С. 500).

майские праздники Эмме Герштейн он запомнился ярко, но лишь тем, что 2 мая напился — да так, что Н. Я. пришлось снимать с него башмаки и укладывать в постель. Но это, видимо, его товарищи катали Мандельштамов 2 мая по Первомайскому Воронежу, завершив день вечерним застольем, на котором благодарный Осип Эмильевич читал свои стихи (ЭГ, 63).

Знаем мы и нескольких соседей по дому, например, архитектора Миროнова (автора проекта этого дома!) и сотрудника Горкомхоза Константинова, у которого, приезжая, останавливался Яхонтов и постоянно снимал комнату тромбонист симфонического оркестра Михайлов.⁶⁴ В трехкомнатной квартире № 2 в 1-м подъезде жил молодой отоларинголог Семен Борисович Глауберман (1897—1971) с семьей, у которого лечился и Мандельштам, а в квартире № 20 — Елена Стародубцева, частная ученица Наташи Штемпель.⁶⁵

Но главной знакомой Мандельштамов среди жильцов этого дома была Нора (Элеонора) Яковлевна Эпштейн, жена Стефана Яковлевича Маранца, главврача областной больницы. Ее сестра, Елена Яковлевна, была замужем... за его братом — Федором Маранцем! Обе они работали в том же Институте гигиены и санитарии, где одно время служила и Наташа Штемпель. Так что весьма возможно, что именно протекции Норы Мандельштамы были обязаны проживанием в столь престижном месте.

Это, однако, не помешало Мандельштаму взять на юмористический прицел обеих сестер — Нору и Лену:

О, эта Лена, эта Нора,
О, эта Этна — И. Т. Р.
Эфир, Эсфирь, Элеонора —
Дух кисло-сладкий двух мегер.

⁶⁴ Из воспоминаний бывшей жилички Г. Н. Константиновой (1928—1996); хранятся в архиве автора.

⁶⁵ Ей Осип Эмильевич запомнился таким: «Неожиданно кто-то позвонил у входной двери, послышался мужской голос. Когда дверь отворилась, в комнату вошел мужчина — сама элегантность и непринужденность, большой высокий лоб, немного ироничный взгляд умных и печальных глаз. Это был поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Он подошел к Наталье Евгеньевне с букетиком подснежников, поцеловал руку, поздоровался со мной и сел в сторонке, чтобы не мешать нашим занятиям. Потом мы вместе пили чай. <...> Очаровательная внешность, чуть прихрамывающая походка, богатство души и человеческой доброты» (*Стародубцева Е.* Воронежские страницы // ЯН, 222).

Задонск

Деревья-бражники шумели...

О. Мандельштам

31 мая к Мандельштамам зашла Елизавета Павловна Гердт, ленинградка и бывшая жена дирижера Гаука.⁶⁶ Узнав о планах отправиться летом на дачу, она искренне удивилась: «Как — такая комната, такие условия жизни, а вы еще дачу хотите?!» На что ей Осип Эмильевич ответил: «На траве валяться, по тропинкам ходить — это полезно». Тогда гостья сказала: «А там вы чего захотите? У золотой рыбки чего начнете просить?»

Сказано было не в бровь, а в глаз. Все это оценили и необычайно развеселились, а поэт еще и немного смутился. Но 10 июня планы начали обретать очертания. Сначала хотели поехать в городишко Павловск, от деревни не отличимый, а потом перерешили в пользу Задонска. Рудаков интерпретировал это по-своему — «выход в люди и сферы»: мол, в Задонске гостят крупные знаменитости из Москвы (писатель Юрий Слезкин и др.). Для облегчения задачи редактор «Коммуны» Елозо дал Надежде Яковлевне газетную командировку на месяц, а вся последующая жизнь должна была оплачиваться театром и переводами из Москвы.

Ехать собирались с домработницей Нюрой⁶⁷ (раньше она только стирала у них белье) и ее дочкой. Когда выяснилось, что театр может лопнуть, поездку отложили, но не отменили. Потом отменили Нюру, зато купили за 90 рублей электробак, способный за четыре часа нагреть аж три литра.

А 17 июня в Воронеж примчался из Ленинграда неожиданный гость — Женя, младший брат Осипа: только на один день, всё очень сухо и деловито.⁶⁸

Его приезд был, возможно, связан с тревожным письмом, полученным им от Евгения Яковлевича Хазина в начале июня: «Ехать в Воронеж совершенно необходимо. Болезнь превращается в форменный бред. Вместо лечения — писание бредовых бумажек во все стороны. О. Э. в крайне психически возбужденном состоянии. В последнем присланном сюда ме-

⁶⁶ Елизавета Павловна Гердт (1891–1975) — балерина; в 1927–1934 гг. преподавала в Ленинградском хореографическом училище.

⁶⁷ Ее появление в домохозяйстве Мандельштама Рудаков связывал с собой — с тем, что он, Рудаков, перестал ходить на базар за продуктами.

⁶⁸ Ср. в письме Рудакова жене от 17 июня 1936 г.: «Бомбой на один день принесся младший псиший брат. Всё сугубо деловое. И псих размяк...» (СР, 182).

дицин<ском> свидетельстве к сердечным болезням присоединились “остаточные явления реактивного состояния, шизоидная психопатия”. Если это будет так продолжаться, дело кончится или разрывом сердца, или сумасшедшим домом.

Хуже всего то, что Надя полностью заражена бредом. // Боюсь, что она и является теперь активным двигателем. Т. е. двое людей на грани помешательства, причем О. Э. действительно серьезно болен, предоставлены всецело самим себе. // Совершенно необходимо проконсультироваться на месте с врачами, установить характер и размеры заболевания. Тогда будет ясно, что делать. // Мне думается, что сейчас нужен будет санаторий, даже воронежский. Самая обыкновенная больница была бы теперь спасительна, лишь бы вырвать О. Э. из обстановки домашнего бреда».⁶⁹

18 июня 1936 года, спустя 14 месяцев после гибели (во время демонстрационного полета) тяжелого самолета «Максим Горький», умер и сам Горький. За час до этого известия Мандельштам позвонил Стойчеву и попросил его не звонить в Москву насчет устройства его дел: «В дни тревоги за Горького прошу обо мне снять вопрос» (СР, 182).

А ранним утром следующего дня — словно по заказу — затмение Солнца. Смотреть его Мандельштамы собирались вместе с Рудаковым, но тот уклонился, опасаясь, что они проспят. Сам же не проспал — пошел и смотрел в одиночку: сквозь черную киноленту, чтобы не обжечь сетчатку. Что ж, в коллекцию эгоцентричных «трофеев» Сергея Рудакова добавилось и светило!

Но, если надо, то вставать рано умели и Мандельштамы. 20 июня они поднялись ни свет ни заря, подхватились и уже через несколько часов сняли дачу в Задонске — тихом, живописном и славном своим монастырем и старцем Тихоном городке в 90 километрах к северу от Воронежа, на левом берегу неширокого здесь Дона.

Оплатить дачу помогла та дружеская коллектa, в которой на этот раз участвовали Ахматова, Пастернак и Е. Я. Хазин и которую, видимо, и привез Евгений Эмильевич. «Мы почувствовали себя богачами и провели в Задонске шесть недель», — писала Надя (НМ, 1, 223).

В это время в Задонске и в самом деле отдыхал Юрий Слезкин, приехавший сюда еще в мае. Его-то и разыскал Мандельштам сразу же по приезде, породив в его полном самолюбования дневнике следующую запись: «20 июня. Неожиданно утром во время моей работы вваливается Осип Мандельштам с женой. Он совсем седой, страдает сердцем, выслан в Воронеж и решил провести лето в Задонске. Я повел его смотреть ком-

⁶⁹ Осип Мандельштам в переписке семьи (Из архивов А. Э. и Е. Э. Мандельштамов). С. 95.

наты. Но он ходить не может — боится припадка, не отпускает от себя ни на шаг жену, говорит сбивчиво... Предоставили их себе самим, зайдя в два-три места и не найдя ничего». ⁷⁰

Предоставление Мандельштамов себе самим означало, в сущности, только одно — нежелание общаться с ними. В результате в слезкинском дневнике этого лета они появляются еще лишь дважды: «На вечерней прогулке с Архиповым и Триггером вспоминал Мандельштама» (21 июня) и «Издали на прогулке видели Мандельштама. Не желая встречаться с ними, повернули обратно» (24 июня).

Но и будучи предоставлены сами себе, Мандельштамы прожили в Задонске около шести волшебных недель — «радуясь и ни о чем не думая» (НМ, 1, 284).

7 июля в Задонск приезжал Рудаков — попрощаться перед возвращением в Ленинград. Он провел с Мандельштамами два дня — и оба, по-видимому, в интенсивных разговорах и расспросах о мандельштамовских стихах. С приездом Рудакова было связано и возобновление 7 июля работы над «Летчиками» («Не мучнистой бабочкою белой...») — стихотворением, начатым еще весной 1935 года и завершенным только 30 мая 1936 года.

Само прощание с Рудаковым было трогательным (СР, 184—185). Мандельштам надписал ему «Разговор о Данте» — ту самую копию, которую Рудаков снял еще в январе 1936 года, а Надежда Яковлевна написала своей матери в Москву письмо с просьбой дать ему старые фотографии зятя (СР, 185).

Чудом сохранился задонский адрес: улица Карла Маркса, 8 (ныне 10) — это недалеко от Богородицкого мужского монастыря. Но вот еще большее чудо: сохранился и сам дом! Мало того — В. Л. Гордин успел застать по этому адресу... хозяйку дачи — К. Ф. Тарасову, и та рассказала, что тех двух дачников хорошо помнит. Больше мужа ей запомнилась жена — тем, что часто загорала нагишом в вишняке, завесившись простынями, и тем, что много рисовала. И действительно: из Задонска Надежда Яковлевна привезла чудные акварели, вобравшие в себя синеву Дона и золото осени.

Но и Мандельштам вернулся оттуда не с пустыми руками. Его стихотворными «акварелями» об этом счастливом времени стали написанные в декабре два стихотворения — «Сосновой рощицы закон...» и «Пластинкой тоненькой жиллета...» (домашнее название — «Задонск»):

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять:

⁷⁰ Выписки из дневника Ю. Л. Слезкина любезно предоставлены С. С. Никоненко и внуком писателя, его полным тезкой, Ю. Л. Слезкиным.

Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.
<...>
А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа, —

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...

8 июля 1936 года Рудаков пишет жене последнее письмо из ссылки — о «более чем трогательном» прощании с Мандельштамами в Задонске. Но одновременно и дистанцируется: «Как-то лучше будет на расстоянии» (СР, 185).

У театральной портнихи

Мой щегол, я голову закину...

О. Мандельштам

Первые несколько недель после Задонска Мандельштамы прожили на улице Энгельса. Именно туда к ним впервые, принарядившись, приходила Наташа Штемпель.

Но посреди осени, предположительно в октябре, хозяйка им отказала, и они перебрались на свою последнюю воронежскую квартиру, пятую по счету. Ее точный адрес: ул. 27 Февраля, д. 50, кв. 1.⁷¹ То был маленький, приземистый одиноко стоящий домик безо всяких удобств и с печным отоплением, каменный и одноэтажный. Небольшие окна в глубоких нишах на полметра от земли, а до крыши рукой можно достать.

Зато как необыкновенно удобно и живописно он был расположен!

Снова в двух шагах от проспекта Революции, и в то же время — в тишайшем месте и транспортном тупике. Визави — здание бывшей женской гимназии, в котором разместился первый в Воронеже междугородный телефонный узел (что само по себе было для Мандельштамов очень

⁷¹ Адрес указан самим Мандельштамом в письме к Н. С. Тихонову от 31 декабря 1936 г. (4, 174). Дом не сохранился. На его месте стоит большой четырехэтажный дом сотрудников обкома партии (ул. Пятницкого, 52).

важно). Внутри — окошки телефонисток, деревянный ряд стульев и пронумерованные кабинки, на стене — карта Воронежской области,⁷² чей абрис так «на Африку похож»! Сколько же раз Осипу Эмильевичу приходилось высидывать здесь долгие часы, чаще всего поздно вечером, в ожидании соединения с Москвой!

Перед входом в телефонный узел — городской автомат, большая редкость по тем временам. Надежда Евгеньевна Штемпель вспоминала, как однажды, сочинив стихи, Мандельштам кинулся через дорогу к этому автомату, набрал какой-то номер и начал громко читать их вслух, затем кому-то гневно закричал: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» Оказывается, он читал стихи начальнику УНКВД, к которому был прикреплен!

Перед домом — большая площадка с огромным тополем, а за домом кубарем катился вниз по Нееловской крутой склон. Куда ни переведи взгляд — всюду чудесный вид на заречные дали.

Комнату в этом домике Мандельштамы сняли у театральной портнихи, Пелагеи Герасимовны, — доброй, сердечной женщины, которая жила тут же со старушкой-матерью и сынишкой Вадиком, учеником второго класса. «У портнихи мы жили тихо, спокойно, по-человечески и совсем забыли, что у нас нет жилплощади», — вспоминала Надежда Яковлевна.

Именно об этом домике поэт написал: «...и дом мой без крыльца».

Крыльца действительно не было: прямо с улицы вы попадали в маленькую покосившуюся переднюю. Из передней налево дверь вела к Мандельштамам, а если прямо — то к хозяевам. Комната была темноватая, освещали ее два небольших и низко посаженных (всего на полметра от земли!) окна в глубоких нишах — одно на площадку (его еще затенял огромный тополь), а другое во двор.

По утрам Мандельштама изводил петух, начинавший кукарекать с ранней зари и, как казалось, прямо в окно. Петух этот явно раздражал Осипа Эмильевича, и он даже жаловался на него жене, уехавшей по делам в Москву, но как-то ласково жаловался: «Я тебе петуха-красавца покажу, который восклицает триста раз от четырех до шести утра. И котенок Пушок всюду бегает. И вербочки зеленые...» (4, 189).

И во втором письме, написанном через несколько дней, — всё тот же петух: «Дней десять назад я поссорился с хозяйкой (я кричал о петухе в пространство: — она приняла на свой счет... Очень деликатно, но всё же говорила кислые слова) из-за петуха. Всё это забыто. Деликатность удивительная. Денег не брали. Терпенье сверх меры. По поводу же нападе-

⁷² Центрально-Черноземная область существовала в 1928–1934 гг. 13 июня 1934 г., т. е. еще до приезда поэта в Воронеж, она была разделена на две области — Воронежскую и Курскую, однако старое название еще некоторое время оставалось на слуху.

ния курицы на маму. Никакой царапины серьезной нет. Шрам заживает. Черт знает, какой вздор пишу! Гоголь такого не выдумает!..» (4, 195).

Убранство комнаты — классическое «мандельштамовское», то есть почти никакое. У противоположной дверям стены — длинный книжный полушкаф-полусервант черного цвета, на котором красовалась птица. В нише за ним, в дальнем левом углу, — одна кровать, перед ней, у окна, — квадратный стол и пара гнутых стульев. Еще одна кровать — перед столом, перпендикулярно стене (если приходили гости, то ее легко придвигали к столу). И еще посередине — как-то по-американски — старая, обитая дерматином кушетка: дерматин холодил, и сидеть на ней было холодно и неуютно.

Системообразующими предметами обстановки были кровати. Постояльцы проводили на них большую часть времени: на них не только спали или, днем, полеживали — на них постоянно сидели и, каждый на своей и по-своему, работали! Надя читала, писала или что-то переводила почти исключительно полулежа, а Осип обычно сидел по-турецки (любимая поза!) у спинки кровати, с книгой и почти всегда — с дымящейся или потухшей папиросой.

Стол же был почти исключительно обеденный: за ним ели, но не работали, за исключением одного случая. А именно — случая с «Одой», когда стол очистили от всего и придвинули к окну, чтобы удобнее было предаться одописанию. Всё остальное время стол служил большой и важной плоскостью, на которой отлеживались черновики и громоздились, стопкой или поодиночке, нужные для чего-то книги, соседствуя с посудой и дымковскими игрушками, которые обожала Надя.

Вообще, книг было немного — наверное, лишь те, с которыми расставаться было непосильно: в памяти Н. Штемпель остались «Божественная комедия» Данте в кожаном переплете с застежками, сонеты Петрарки, стихи Христиана Клейста и Новалиса (все в подлинниках), альбомы по живописи и архитектуре. Из рассматривания французских готических соборов в одном из таких альбомов соткались однажды эти, например, стихи:

Я видел озеро, стоявшее отвесно, —
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке...

Другую современницу, посещавшую здесь Мандельштамов, не покидало щемящее «ощущение неустроенности, временности, отчужденности обитателей этой комнаты от жизни, шумящей за ее окнами».⁷³

⁷³ Ярцева М. Мои встречи с О. Э. и Н. Я. Мандельштам // ЯН, 119–220.

————— «У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ МНЕ ПЛОХО СПИТСЯ...»

Но не забудем: здесь, в этом доме и в этой комнате, Мандельштам писал и вторую, и третью свои «Воронежские тетради»!

Кстати, и воронежский щегол Мандельштама — отсюда же: он такой же обитатель дома, такой же квартирант, как и Осип Эмильевич. Клетка с щеглом висела над столом Вадика, хозяйкиного сына.

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем.
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоём?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли — до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?..

Мандельштам как бы примерял на себя планиду певчей птицы, запертой за прутьями решетки и не допущенной в Саламанку, в самый вольный на свете университет...

...И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Вывод, к которому он пришел, банален, но упрям: поэта в клетке содержать не надо, а удержать нельзя!..